

еёеёеё скандинавская линия

# ШЕСТЬДЕСЯТ КИЛОГРАММОВ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

«Большая  
литература  
маленькой страны».  
Денис Шек,  
телепрограмма *German  
Literary*

«Продолжатель  
литературной  
традиции Халльдора  
Лакснесса,  
Хатльгрим Хельгасон  
написал один из  
самых красивых  
и невероятно  
амбициозных  
романов XXI века».  
Лили Кинг

18+

## ХАТЛЬГРИМ ХЕЛЬГАСОН





Скандинавская линия «НордБук»

Халльгрим Хельгасон

**Шестьдесят килограммов  
солнечного света**

Издательский дом «Городец»

2018

УДК 821.113.3-31  
ББК 84(4ИСЛ)-44

**Хельгасон Х.**

Шестьдесят килограммов солнечного света / Х. Хельгасон —  
Издательский дом «Городец», 2018 — (Скандинавская линия  
«НордБук»)

ISBN 978-5-907641-16-7

«Шестьдесят килограммов солнечного света» – исторический роман о том, как на рубеже XX века в холодной и бедной Исландии наступили новые времена. Жители отдаленного фьорда на севере страны веками влачили жалкое существование в борьбе за выживание: боролись с выюгами и лавинами, пасли овец и коров, выходили на промысел трески и акулы, чинили протекающие крыши своих землянок. Казалось, из этой накатанной жизненной колеи невозможно выбраться. Но однажды во фьорд зашел косяк сельди, а следом за ним – норвежские рыбаки, и все в захолустье пришло в движение! Это не только большой роман об истории народа, написанный живописно и с чувством юмора, но и трогательное повествование о судьбе мальчика, который ищет способ выжить в этом суровом мире. Хатльгрим Хельгасон (р. 1959) – один из самых известных исландских писателей, лауреат многих национальных и международных литературных премий, кавалер Ордена искусств и изящной словесности Франции (2021). На русском языке выходили стихотворения автора и романы «101 Рейкьявик», «Десять советов по домоводству для наемного убийцы», «Женщина при 1000 °С». Роман «Шестьдесят килограммов солнечного света» был удостоен Исландской литературной премии (2019), а также наград за Лучшую переводную книгу года в Германии (2020) и Лучшую аудиокнигу в Исландии (2021).

УДК 821.113.3-31  
ББК 84(4ИСЛ)-44

ISBN 978-5-907641-16-7

© Хельгасон Х., 2018

© Издательский дом «Городец», 2018

## Содержание

Книга 1	7
Глава 1	7
Глава 2	9
Глава 3	10
Глава 4	12
Глава 5	15
Глава 6	18
Глава 7	21
Глава 8	24
Глава 9	26
Глава 10	28
Глава 11	29
Глава 12	32
Глава 13	38
Глава 14	41
Глава 15	43
Глава 16	46
Глава 17	47
Глава 18	49
Глава 19	52
Глава 20	55
Глава 21	57
Глава 22	61
Глава 23	63
Глава 24	67
Глава 25	70
Глава 26	71
Глава 27	75
Конец ознакомительного фрагмента.	78

© ИД «Городец», издание на русском языке, оформление, 2023



# Книга 1

## Из сугроба ты вышел

### Глава 1

#### Адам на ледяной пустоши

Вначале страница была пуста: просто чистый белый лист бумаги. Нигде – ни черной былинки: ни точки, ни запятой. Фьорд был одной слепой снежной целиной: от водопада в глубине долины до самого берега моря, и непонятно было, что там под снегом: земля или вода. Пороша стерла все следы пребывания человека, и фьорд лежал под северным небом такой же нетронутый, как в тот день, когда его открыли – а это было 999 лет тому назад.

И вот на эту чистую страницу выходит герой: ковыляет человек, притаскивается изможденный дух с заиндеветой бородой, в пропотевшем свитере – осунувшийся мужчина, который просто не может носить другое имя, кроме имени Эйлив <sup>1</sup> Гвюдмюндссон. Он останавливается на горном перевале и смотрит на свой родной фьорд, который больше не фьорд, а белая страница – чистая, пока не началась история. И вот он входит на нее и кладет истории начало – прокладывает следы, с каждым шагом чуть ли не по колено проваливаясь в снег своими шерстяными носками и башмаками из акульей кожи. Мы слышим его дыхание – пыхтение, он запыхался от ходьбы, но сейчас его вдобавок еще и бросило в жар; он ничего не может понять: в этом месте у него стоял хутор, где были и домочадцы, и скотина – но сейчас он не видит своего жилища, – а ведь буран, бушевавший целых три дня кряду, уже улегся, и небо подобрало свой снежный шлейф.

Эйлив Гвюдмюндссон спешит спуститься с перевала, разбрызгивая вокруг себя сухой снежок, словно льдиноборбодая паровая машина. И мы следуем за ним – взмокнув, зябконогом, несущим мешок рождественской пшеничной муки – и слышим его пыхтение. Его мы слышим даже лучше, чем он сам, ведь мы – книголюбы – воспринимаем вещи с удобной дистанции, окруженные той самой идеальной книжной тишиной, которая обычно царит вокруг пододеяльников, и с наслаждением сопереживаем чужим страданиям при свете лампы на ночном столике.

По мере спуска с горы пороша превращается в сугробы, сугробы в снега, а снега – в наст. Сейчас пешеход проваливается лишь по щиколотку, приближаясь к тому, что он считал своей жизнью, своим жильем, которое на картах именовалось Перстовая хижина, а теперь его больше нет, и само его название тоже завалило снегом. Солнечный утес – и тот исчез, а ведь он – самая надежная примета, он всегда стоит частично незамеченным, словно неколебимый заповедный ориентир, словно щит для объявлений о сегодняшнем и завтрашнем дне. А теперь – не за что ухватиться в жизни, держалки никакой не стало, и вот хуторянин стоит там, где раньше был его дом, выпускает из себя облако пара и глядит из этой прозрачной дымки большими черными зрачками – единственными темными точками в этой белизне: они катаются по дну долины, словно две горошины по тазу.

«Что за черт, я прямо как «Адам среди снегов» в стихах нашего Лауси!» – подумал Эйлив Гвюдмюндссон и машинально начал бормотать знаменитые строчки из «Книги Лауси», в которой этот плотник-язычник, по полному имени – Сигюрлаус с хутора Нижний Обвал, привязал

---

<sup>1</sup> Это имя означает «Вечный». (Здесь и далее примечания переводчика. Более подробные комментарии приведены в конце книги.)

к родным местам различные сюжеты из Пятикнижия Моисея, чтобы скоротать зиму, когда ему пришлось сидеть без досок.

Среди снегов Адам стоял  
В костюме Евы.  
А в его жилах снег играл  
Свои напевы.

Отчаяние Эйлива было так велико, что ему даже пришлось снять свою шапку с наушниками. Посредине его заледеневшей бороды протаяла широкая дорожка. Она пролегала от носа до рта, а к подбородку исчезала; в той местности это называлось «оттепель в носу». Его космы спускались вдоль крупных ушей мокрыми от пота изгибами, а на макушке поблескивала сорокалетняя плешь. Он шагал взад-вперед по тому месту, где должен был стоять его хутор – где по всем приметам просто обязан был стоять его собственный хутор, который сейчас вымарали со всех карт, – разевая пасть как собака, которая чует запах, но не находит куска. Но в конце концов он остановился и стал смотреть в сторону устья фьорда. Церковь в Сугробной косе – и та исчезла из виду, а ведь она была с колокольной и выкрашена в черный цвет. Корабли Кристмюнда из Лощины, выходившие на промысел акулы – и те были невидимы, а ведь эти смоленные суда никогда не были добычей снежной слепоты, они всегда вздымали свою парусоподвязанную высокомачтовость у берега близ самого крупного хутора в Сегюльфьорде. Неужели так намело – или это разом обрушились целых четырнадцать лавин? Да еще утром самого Рождественского сочельника?



## Глава 2

### 3 кг пшеничной муки

Хуторянин Эйлив из Перстовой хижины был в отъезде десять дней, из них четыре – в дороге домой, а ведь в иной погожий день она заняла бы всего лишь пять часов пешком. Целых три раза он пытался переправиться через перевал Подкову, чтобы попасть из Хейдинс-фьорда в Сегюльфьорд, но его дважды отгоняли обратно к хутору Угор супруги Буран и Вьюга. Во вторую из этих попыток он был не в состоянии шевельнуть рукой: ветер так бушевал, что даже не давал ему поднять ладонь, чтоб заслонить голову. Настал день святого Торлаука<sup>2</sup>, и Эйлив вознамерился во что бы то ни стало добраться домой до вечера. Дома его ждали жена и дети, – а если у них не будет пшеничной муки, то какое уж Рождество! Но вот – хуторянин полдня провел в борьбе с ветром, во время которой Буран беспрестанно пулял по нему из своего дробовика (дробь с юга градом сыпалась ему на левую щеку). Наконец человек сдался и повернул вниз, в долину, но тогда и Буран тоже повернул и задул с востока: Эйливу пришлось ползти вниз по склону на четвереньках, а пять часов спустя он еле-еле добрался до дома супругов Крёйеров на хуторе Угор.

Его ввели в коридор землянки на хуторе<sup>3</sup>, словно полуоттаявшего выходца с того света в поскрипывающем панцире, а затем и в горницу, – а ему показалось, что та сияет алым, почудилось, что свет жирника имеет кроваво-красный оттенок, напоминающий дома веселья в Южных морях, о которых однажды читал ему Лауси с хутора Обвал в книжке «В сторону моря».

– А... уже Рождество? – вымучил Эйлив сквозь искусанные стужей губы и почувствовал страх: он подвел своих близких! – И, сказав таковы слова, приблизился он к чернокаменному зеркалишку на столбе и узрел в нем облик свой: глаза налиты кровью до самых зрачков, а в середине зрачка трепещет полная луна на мудреном небе, – и ясно увидел он, что игольное ушко его души омыто кровавым светом луны, ибо пред взором его было красно. Тут сбили с него большую часть сугробов, а потом отвели из горницы по коридору в кухню, где дали постоять над очагом, пока двое человек счищали с него снег. И напустился на лед огонь, и тогда восплакало и возрыдало все его тело.

И все это – ради трех килограммов муки, и пирогов, и хлеба!

---

<sup>2</sup> Так по традиции называется 23 декабря. Изначально это был день гибели епископа Торлаука Тоурхатльссона (1133–1193), канонизированного католической церковью; после Реформации день памяти этого католического святого не забылся благодаря своей близости к Рождеству и стал осмысляться в первую очередь как день последних предрождественских приготовлений.

<sup>3</sup> В старинных постройках на исландских хуторах стены складывались из дерна и камней, деревянным были только фасад и детали внутреннего убранства. (Так как своего строевого леса на острове не было, полностью деревянные дома были доступны только состоятельным людям.) Крыша была земляная, и на ней росла трава. Обычно в крыше располагалось окно (оно могло быть единственным). Такие домики были тесными и низкими (боковые стены фактически были скатами крыши). Внутри землянки по обеим сторонам вдоль боковых стен стояли кровати, на которых хуторяне сидели, когда ели или занимались рукоделием. Кухня, хлев, кладовая и другие постройки, необходимые на хуторе, размещались в таких же землянках, которые лепились друг к другу; обычно между жилой землянкой и землянкой-хлевом был коридор, в который вела входная дверь. В жилом помещении на таком хуторе могло не быть отопления (особенно если речь шла о жилище бедняков).

## Глава 3

### Киоск с окошком

В сегюльфьордском торговом кооперативе, размещавшемся в углу складского помещения в Сугробной косе, после целого месяца льдов на море закончились товары, зато прошел слух, что в Оудальсфьорде стоит торговое судно. Из устья фьорда на восток параллельно берегу тянулась узенькая полоска открытой воды среди льдов, и по ней пробиралась шхуна, словно усатый кит, увенчанный парусами и длинным бушпритом. *“Fanden splitte mine bramsejl!”*<sup>4</sup> – раздавались мысли на этом судне, – кто-то ведь должен возить им муку, этой бедноте колченогой, кормить-то этот проклятый народ надо, но не спрашивайте, почему – и почему именно мне? А в тех товарах, которые они предлагают взамен, ценности немного: топленый акулий пот, палки запекшейся крови<sup>5</sup> да высохшая от старости треска...

Таковыми были датские мысли, правившие этим торговым судном, – а датчане уже много веков властвовали над этим народом, и в этом союзе двух стран терпение обеих истощилось до предела, ведь из всех колоний мира Исландию оказалось труднее всего угнетать. Господ уже давно раздражали все эти расходы, и в Исландии все датчане ходили угрюмые.

Так что датчанин – капитан корабля – не желал, чтоб по его палубе шлялись обитатели нищих исландских хижин, и отпускал товары через круглое окошко в корме. Это был, можно сказать, первый в истории Исландии киоск с окошком. Покупатели подгребали на лодках к борту корабля, выкрикивали в дырку название и количество из своих больших и впечатляющих списков покупок, а затем бросали туда свой мешок. Жутко долгое время спустя он возвращался назад в руке датчанина, а полномочный представитель народа-покупателя, исландский купец, приехавший из другого полушария, столицы Четверти<sup>6</sup>, самого Фагюрэйри, – клал на датскую ладонь монету. Затем он записывал в книгу, сколько тому или иному голодранцу отпущено в кредит. Такая уж тогда была экономика. В этих трех фьордах денежной купюры не видели с тех давних пор, как в церкви в Сугробной косе однажды выступал один чудной странствующий пастор. В доказательство существования дьявола он размахивал пылающей «пятикопытной» купюрой, утверждая, что она-де служит платежным средством в преисподней. Торговцу отдавали в уплату кожи и рыбий жир, мясо и овечьи головы и брали у него под запись бреннивин<sup>7</sup>, сахар и башмаки.

Торговцем обычно бывал тот, кто в поселке носил самое красивое имя (Сигурд Скьёт, Элиберт Хансен...), лучше всех одевался и разговаривал по-датски. Он должен был обладать окладистой бородой, солидным видом и радушием, но при этом крайне неохотно отпускать товары, особенно хмельное. Последняя черта считалась специфически исландской: исландские торговцы – единственные в мире, кому было жаль продавать свой товар, каждая «продажа» была для них разочарованием, каждого «клиента», которого угораздило притащиться к ним в лавку, они встречали вздохом. Из-за бескупюрной экономики и удаленности от мировых портов торговец смотрел на склад товаров как на собственное имущество, нажитое тяжелым трудом – и поэтому расставался с ним неохотно. Было очевидно, что обтянутые кожей деревянные башмаки, сработанные каким-нибудь искусником в Гамбурге, а может, в Хеллерупе<sup>8</sup>, и выставленные на полке в исландском фьорде, проделали сюда такой же далекий путь, как

---

<sup>4</sup> «Черт раздери мои брамсели!» (датск.)

<sup>5</sup> Имеется в виду кровяная колбаса.

<sup>6</sup> Старинное деление Исландии по географически-административному принципу – деление на Четверти страны.

<sup>7</sup> Бреннивин – крепкий (37,5 %) исландский алкогольный напиток, выгоняемый из картофеля, часто приправленный тмином.

<sup>8</sup> Городок в Дании.

китайский шелк – до Копенгагена. Так что торговцу оставалось только одно: заломить цену за этот товар, надеясь, что тогда его никто не купит. Так сложилась особенность исландской торговли, сохранившаяся и до наших дней: продать как можно меньше, зато как можно дороже. Некоторые торговцы доходили даже до того, что сами пользовались товаром, пока он не был продан, например, подтяжками и сервизами. На таких вещах это незаметно, и их всегда можно заново выставить в лавке. Однако на торговцев минувших веков без конца наседали нуждающийся народ, изнуренный голодом и рабством, поэтому их работа была трудной и неблагодарной, и не всем удавалось одинаково хорошо беречь свой склад.

А тот благородный господин, о котором речь пойдет в нашей повести, – красивоусый Эдвальд Копп – как раз отъехал непривычно далеко от дома, от родных прилавка и кассы в Фагюрэйри, и по этой причине суетился и нервничал. Его родной Эйрарфьорд, как и все другие фьорды, затянуло льдом (мороз чинов не спрашивает), и к кораблю нигде нельзя было подплыть – только в этом невзрачном Оудальсфьорде, где жили разве что одни тюлени. Торговцу пришлось трое суток вместо шляпы надевать на голову шапку, спать под крышами землянок, переправляться на коне вплавь через целые ущелья, заполненные снегом, и даже перейти одну горную пустошь с конем в поводу. Но его толстое брюхо при этом не убралось (после трех бесплатных обедов, где ему подали варено-копченую баранину со скиром<sup>9</sup>), и у берега он выпятил живот, так что с моря было видно, что за человек едет: *det var en mand med maend!*<sup>10</sup>

Да уж, этот народ не весь из сугроба выполз, и здесь встречались люди, накопившие жирок!

Затем он извлек из футляра цилиндр и попросил переправить себя на корабль стоя, так что позади него красиво развевались полы жакета. Спустя один полдень он вернулся назад, слегка подшофе, и отобрал с собой в корабельную шлюпку троих хуторян в одежде овечьих цветов: пусть, мол, сами подают и забирают свои мешки через датский иллюминатор, он не желает о них мараться! Это была вынужденная мера: киоск с окошком предназначался для жителей ближайшей округи, однако жажда хлеба привела к нему множество хуторян из других, совсем уж дальних краев, даже тех, кто не был записан в книгах у Коппа, но надеялся, что торговец войдет в их положение. И хотя эпоха торговой монополии<sup>11</sup> в Исландии уже давным-давно закончилась, у торговцев все еще были «свои» хуторяне, а у хуторян – «свои» торговцы.

<sup>9</sup> Исландский молочный продукт, по консистенции и вкусу напоминающий нечто среднее между творогом и несладким йогуртом.

<sup>10</sup> Человек не хуже людей (*датск.*). Калька с исландского “*Maðurinn með mönnum*”, значение которой и есть: «не хуже других».

<sup>11</sup> Торговая монополия была введена в североатлантических владениях Датского королевства – в Исландии и на Фарерских островах (в Исландии с начала XVII по конец XVIII в., на Фарерских островах – до середины XIX в.). Она подразумевала торговлю местных жителей исключительно с датскими купцами; торговля с иностранными судами строго каралась. Отсутствие конкуренции часто приводило к тому, что датские торговцы позволяли себе продавать местным жителям некачественные товары втридорога. Оплата датских товаров обычно производилась не деньгами, а вязаными изделиями или продуктами рыболовного промысла.

## Глава 4

### 99 форелей

Эйлив пришел поздно: жидковатый свет в небесах уже угасал, большинство хуторян разошлось по домам, назревал большой буран. Но одна возможность съездить в киоск все же еще оставалась: однорукий хуторянин с Двойной скалы в Оудальсфьорде со своей неизменной буранной усмешкой уселся в лодку и без дела сидел там на скамье напротив гребца-датчанина, безбородого мальчишки с лихорадочно-красным лицом; из почтения к Коппу и датской короне он ухитрился одной рукой стащить с себя шапчонку и так и сидел в лодке с непокрытой головой, несмотря на холод. А торговец все еще стоял на взморье, когда к нему вдруг принесло такую важную птицу с мешком:

- Перстовая? Нет, тебе я кредита не давал!
- Нет, мы – сегюльфьордские, всегда кредитуемся в лавке в Сугробной косе, у Сигюрда.
- А здесь что ты забыл? В моем *område*<sup>12</sup>, на моем корабле...
- Ну это... У него, родимого, зерно закончилось. На море же льды.
- Что это за непутевый торговец, у которого склады пустеют! И что же это за хозяйство?
- Да, Сигюрд говорит, ему на мешках плохо спится.
- А! Вот как? А что ты мне дашь? В Сегюльфьорде, поди, денег не печатают?
- Я тут подумал... ну, тринадцать форелей за три килограмма пшеничной муки. Понимаете, Рождество... и жена...
- Ах вот как! Рождество и жена? Так-так! И где же твои форели?
- У меня в озере.
- Вот как? А почему ты их не принес?
- Ну там же все заледенело. А лед-то сейчас толстый.
- Вот как? И когда же мне их ждать?
- К весне. Могу сдать их весной.
- Тринадцать непойманных форелей за три килограмма муки?! А я скажу: тридцать три форели за каждый килограмм!

Торговец слегка запинаясь в конце фраз, и Эйлив, как и все вокруг, понимал, что это действует капитанский ром. Чуть выше на взморье стоял конюх торговца с лошадьми, собакой и двумя непонятными человечишками; они слушали этот разговор, а чуть поодаль двое хуторян корячились над свертками новоприобретенной тяжести и собирались вместе со своими собачками пуститься в путь домой.

«Девяносто... форелей?» – повторил Эйлив, чувствуя, как его сердцу становится жарко, и оно разом выпускает в кровь семнадцать разных дум. Что можно на такое ответить?

– *Ja, ni og halvfems ørreder!*<sup>13</sup>

Эйлив ненадолго взглянул на пьяное лицо торговца: этот маленький носишко, крупные щеки, эти навощенные усы, эти глубоко посаженные глазки под твердой-твердой шляпой. И вдруг он представил себе, как девяносто девять форелей воспаряют из Перстового озера погожим весенним вечером, плывут по воздуху вглубь фьорда, через горы, долго-долго летят по небу, а потом вереницей прилетают в Фагюрэйри, к деревянному дому Коппа, выстроенному в норвежском стиле, засасываются в дымовую трубу, вылетают из кухонной плиты и мчатся прямо по коридору (предводитель рыбьего косяка сразу найдет, где у них столовая), потом одна за одной прошмыгивают к концу стола (под люстрой) туда, где сидит господин Копп, осалфе-

---

<sup>12</sup> Область, округ (датск.).

<sup>13</sup> – Да, девяносто девять форелей! (датск.)



тившись и разинув рот, – в который эти рыбы и впрыгивают поочередно на большой скорости. А торговец девяносто девять раз глотает.

Вот что он увидел. Но ничего этого так и не высказал. Они просто стояли там друг напротив друга: долговязый хуторянин-изнуренка и шикарный толстозад. У одного из носа и рта струился пар дыхания – человеческая машина дымила, – а от другого ничего не струилось, судя по всему, его вырезали из цельного куска дерева. И как этому маленькому деревянному человечку удавалось смотреть на такого верзилу сверху вниз? Его высокий цилиндр доходил Эйливу лишь до глаз. При таком положении головы торговца хуторянин видел круглую площадку – верх цилиндра, больше всего напоминавший кусочек пленительного рая: хотя с небес порой летели снежинки, на сию благородную кровлю они не ложились. Но вдруг в лице Коппа что-то начало подрагивать, и через пару снежинок он повернул голову в сторону моря, из его рта вылетела струя рвоты и, описав длинную величественную дугу, со смачным бульканьем коснулась воды.

Эйлив бросил взгляд на лодку и заметил, что человеком, посреди его разговора с Коппом шагнувшим в шлюпку и притулившимся рядом с одноруким гримасником, был не кто иной как работник Кристмюнда из Лощины по имени Якоб – с мощными челюстями и бородой-воротником. Почему подняться на корабль дали ему, а не Эйливу? Они же оба из Сегюльфьорда, то есть из другого торгового округа! И вот он увидел, как этот Якоб очень изящно кивнул ему, и это движение выражало все разом: 1) Ну что, приятель, зерно кончилось? Вечно у тебя одно и то же! 2) Ты и впрямь считаешь, что для тебя и для нас, лощинцев, порядки одинаковые? 3) Да нет, Копп, конечно, – попросту сбрендивший сквалыга, он и пить-то не умеет, вон, смотри: роскошный обед, который съел на корабле, таким жалким образом выблевал!

Торговец все еще соплекавкал на взморье, согнувшись в три погибели. Цилиндр свалился с него. Эйлив видел, как ветер гонял его по заснеженной приливной полосе: черное на белом, как блестящая гроздь из роскошного сада, которая упала в убогий заледеневший мир и теперь перекатывалась там. Тут он увидел свой шанс, сделал нужные шаги и подобрал цилиндр, пока тот не улетел к конюху.

Обитатель землянки подобрал шляпу торговца и стоял с ней на взморье, словно робкая девушка с букетом цветов, а маленький большой человек тем временем завершал свое дело. Наконец Копп выкашлял последние капли слюны, поднялся. Огляделся – голова словно закатное солнце над поблескивающей серой гладью моря: «Где моя шляпа? Где моя шлюпка? Где я вообще нахожусь?» И торговец побрел обратно, ступая своими французскими кожаными сапогами по щиколотку в морскую пену, и от его прежнего запала не осталось и следа, казалось, его одолела усталость: каких же, черт побери, хлопот стоит попытка представить этих виртуозов голода иностранцам!

Копп без слов подошел к своему цилиндру, словно мать к ребенку, и взял его из рук Эйлива, затем вновь повернулся к морю и подозвал шлюпку. Но пока гребец-датчанин отчаливал, торговец развернулся и что-то крикнул тому долговязому – нечто, что могло означать «Ну подойди же!» или «Проваливай к черту!». В представлении хуторянина это значило одно и то же, и он побрел к воде. И пока он стоял там перед верткой лодкой с тремя сидящими людьми и одним стоящим торговцем, с его уст сорвался таковой вопрос:

– А что насчет цены за килограмм? Тридцать три форели за килограмм мне нипочем не заплатить!

– Да ну! Пошли! Как-нибудь устроим... – крикнул ему Копп заплетающимся языком.

Цилиндроносец, кажется, изbleвал из себя почти всю свою надменность, и сейчас в его глазах светилось редкостное и тем более удивительное понимание. Значит, во всем этом убожестве все же крылась какая-то удача? Этим декабрьским днем у Ледовитого океана всем управляла какая-то милостивая рука? Рука Всевышнего? Нет, вряд ли, подумал Эйлив, в лучшем случае отсутствующая рука однорукого хуторянина с Двойной скалы, который ждал в

лодке, окруженный облаком собственного дыхания. Эйлив выделил себе миг на размышления об этом вопросе: на его вкус, все было весьма непонятно. Как и лодка, и тот самый добрый цилиндр, цена за килограмм плясала перед ним на волнах вечно беспокойного моря, а потом он вспомнил, что его ждет Рождество дома, лица доброй Гвюдни и детей, – и шагнул в ту ледяную бесформенность, которой зачастую отличается торговля в Исландии, перелез через борт и нашел себе место на передней скамье, позади лихорадочно-красного гребца.

Он увидел, как цилиндр над плечами датчанина склонился на корму, позади работника Якоба, с усталой ухмылкой расправлявшего свою бороду-воротник. Рядом с ним по-прежнему сидел однорукий со своей извечной буранной усмешкой. Но сейчас она была как раз к месту: началась нешуточная пурга.

Разве это что-нибудь сулит, кроме верной гибели? – думал Эйлив. Неужели он действительно собирается поверить словам пьяного торговца? Но в следующие мгновения он увидел перед собой лишь громадные руки управителя мира, которые появились из вселенской тьмы и оттолкнули датскую шлюпку от берега. Так уж устроен мир, так он вертелся, одно сменялось другим: кто в один миг сел в лодку, в следующий уже будет в море. На глазах стемнело, туча над морем спустилась на тон ниже, и соответственно этому буря разбушевалась еще сильнее. Берег ответил порывом ветра, с него длинной дугой поднялась метель, заплетаясь в воздухе, словно плеть, которой погоняют зверя непогоды, крича в его длинные повислые уши: «Трогай!»

Утомленный делегат в ту ночь выпался в датском корабле, а виртуозы голода отправились восвояси, домой, к трудам, исчезли в тумане, словно лошади с обернутыми кожей копытами.

И вот, сейчас Эйлив стоял здесь, на широком снежном покрывале, обливаясь потом от страха, и думал: Три килограмма муки – за это все? Три килограмма муки – за мое жилище, жену, детей, корову? Три килограмма муки – за всю мою жизнь?!

И тут он услышал у себя под ногами мычание. Он вдруг услышал мычание под снегом.

## Глава 5

### Ромул в снежной обители

– Му-у! Му-у!

Эйлив начал копать в том месте, откуда доносился звук. Корова продолжала мычать. Звучало это как труба из потустороннего мира. Из нижнего. Он не мог ничего с этим поделать: он представлял себе бурого пятнистого человека, дующего в золотую трубу длиной с косовище, заканчивающуюся внизу изгибом, напоминающим лезвие косы.

О, Хельга, моя Хельга! Где же ты, родимая?

Он выкопал в снегу две дыры, но ему все время казалось, что корова Хельга где-то сзади, и он принимался рыть в новом месте. Может, это «му» было только у него в голове? Да, конечно, корова запросто могла быть у него в голове, конечно, туда вмещалась целая корова, целый хлев, этот фьорд, эти горы, да и весь белый свет. Конечно, всему этому было место в голове у одного человека.

Так думал Эйлив.

Он часто так думал, даже в решающие моменты – о какой-нибудь несусветной ерунде, не относящейся к делу, и это нередко создавало ему трудности. Например, когда сислюманн<sup>14</sup> давным-давно допрашивал его насчет того куска дельфинятины, он сидел, разместив свои ноги-ходули, обносоченные до колен, напротив самой сислюманновой холеной бороды – и вдруг начал думать о яйцах. О большом множестве яиц. Перед его внутренним взором на заднем плане тянулись длинными рядами тысячи яиц, и его мысли дали ему чайную ложечку и велели ударять каждое яйцо по темечку и подсчитывать, сколько он стукнул. Задание было крайне мудреное – а тут еще ему надо было одновременно отвечать на вопросы сислюманна.

– Что вы делали на берегу в вышеозначенный вечер?

– Яйца бил.

– Простите, как это понимать?

– Да там поднимать не надо: ложкой стукнешь – и все.

Эти яйца надежно обеспечили ему два месяца тюремного заключения в столице. Честно признаться, он ожидал его с радостью: тогда он наконец смог бы уехать из этого вилкообразного трехфьордия. Он был записан батраком в Лошине, а значит, был прикреплен к сельской местности так же прочно, как камни в ограде. Для такого человека тюремное заключение с сопутствующим плаванием на юг, в столицу, было почти как кругосветное путешествие. Однако из-за льдов на море в ту зиму приговор не удалось полностью привести в исполнение, а в следующую зиму за ним не прислали. Исландское правосудие славилось подобной медлительностью, и часто от преступления до допроса проходили годы, а от допроса до приговора и от приговора до тюремного заключения – еще дольше. Иным приходилось в старости отбывать наказание за преступления, совершенные в молодом возрасте. Но большинство простых людей относились к этому спокойно; ведь они уже давно пришли к выводу: что сидеть в тюрьме, что ходить в батраках – разницы почти никакой. Степень несвободы была схожей, хотя работникам дозволялось раз в год переходить к другому хозяину. Зато в темнице, как говорили, трудиться не требовалось.

Эйлив издавна принадлежал к этому сословию, вмещавшему большинство жителей страны и в чиновничьих бумагах именовавшемуся «работными людьми». Поскольку все пригодные земли в Исландии уже были заняты, и вся страна, от мысов до долин в глубине острова, «запродана», работникам вменялось наниматься к какому-нибудь фермеру; этот вид кабалы

---

<sup>14</sup> Сислюманн – представитель высшей налоговой, судебной и административной власти в сисле (единица административного деления страны, существовавшая в Исландии до XX века).

назывался батрачество. Батраки подчинялись строгому домострою. Им было запрещено вступать в брак и заводить детей. Это исландское рабство, существовавшее веками, недавно было упразднено законом. Но с законами дело обстояло так же, как и с правосудием: чтоб добраться до севера страны, им могли потребоваться десятилетия. Исландских рабов все же не оставляли совсем без жалования, так что Эйливу за двадцать лет удалось накопить на трех ягнят и одну крышу над головой. Он выстроил себе землянку и стал мелким хуторянином – владельцем хижины с женой, детьми и коровой – где бы они все сейчас ни были. Но приговор все еще висел над ним – видимо, в судебной системе про него забыли. И сам он умудрялся забывать про него на долгое время, хотя, если ему случалось искать овец в горах в лютую непогоду, он порой согревался мыслью о том, что когда-нибудь отправится на юг в уютную тюрьму.

Эйлив снял рукавицы и надетые под ними варежки и вновь принялся раскапывать снег своими длинными пальцами, но опять услышал мычание в голове, метнулся вверх и назад и всплеснул руками: «Что, мол, за черт...» И вдруг провалился в снежную целину по пояс, в какую-то дыру – и это была дыра между тем и этим светом, и Эйлив исчез со снежной целины и угодил вниз, в свою прежнюю жизнь, и теперь от него не осталось и следа, лишь мешок с рождественской мукой: обветшавший побуревший мешок из дерюги.

Эйлив нащупал под собой ступеньку и вскоре высвободился из рассыпчатого снега, скрывавшегося под настом. Он насчитал восемнадцать снежных ступеней в сугробный мрак, непохожий на другие виды мрака, потому что в нем был снежный отсвет. Сердце усилило трепет и принялось посылать ему стрелы мыслей, на острие которых были глаза его детей и... Значит, она все-таки выкопалась, значит, она жива! И здесь они все – и корова!

Наконец он добрался до самого низу, его грубообутые ноги нащупали пол – своего рода пол, и сейчас корова замычала громче, чем прежде. Он сползал своим длинноногим телом вниз по ступенькам, а задом – по ледяному полу, пока не высвободился из этого странного белого коридора и не оказался внизу. Здесь его ждал коридор землянки, темный и тесный, и в конце концов ему пришлось продвигаться там ползком, так как из-за снегопада потолок частично обвалился; в глубине коридора сверкал большой сугроб. Эйлив вполз на четвереньках в бадстову<sup>15</sup>, и там его взорам предстали... глаза – два больших глаза его малютки Геста, который глядел на рождественского духа – своего отца, круглые глазенки, словно сероватые латунные пуговицы, сияющие в снежном полумраке. Из угла рта у него тянулась молочная дорожка, а рукой он держался за сосок, он сидел у вымени, словно Ромул без Рема – двухлетний мальчуган, вскармливаемый коровой. Корова Хельга лежала в своем стойле. Она повернула к хозяину свою большую голову, закатила глаза, еще промычала и рьяно потрясла головой, так что ее хлопающие уши намели ледяной крошки со снежной стены, теперь подступавшей к самому стойлу. Она, очевидно, крепко обиделась на то, как он поздно пришел.

Наискосок над хребтом коровы убого висела крыша бадстовы – да, это была именно она: крыша «бадстовы с хлевом». Она была ломаной-переломаной, а в одном месте на ней, словно подкладка на рваной одежде, проглядывал снег. Один ее конец завалился на пол, а второй накренился, и его подпирали три бревна, которых раньше не было: очевидно, их подставила под крышу жена, а в остальном помещение было одной большой кучей снега. Вот они бы мне еще посмеялись за то, что я крышу покрыл досками внахлест!.. Эйлив обвел помещение глазами и тут увидел под снежным курганом по левую руку рядом с собой ноги – то была его любовь, радость и жизнь: две аккуратные ноги – те, что обеспечивали ему связь с землей, обутые в свои домодельные башмаки из овечьей кожи<sup>16</sup> с голубым узором на плюсне, который умела

<sup>15</sup> Бадстова – жилая комната в землянке на традиционном исландском хуторе.

<sup>16</sup> Традиционная исландская обувь – цельнокройные башмаки из кожи (обычно овечьей, но иногда и из кожи других животных и рыб). Такая обувь изготавливалась самими хуторянами, была непрочной и пропускала влагу.



вышивать только Гвюдни – лишь она одна в целом фьорде. Суд божеский на небесах, враг нечистый в преисподней, – да ведь она...

А где же девочка? Моя девчушка!

Малыш Гест – румяный двухлетний мальчуган, сейчас что-то лепетал, протягивая ручки, и Эйлив поспешил к нему и обнял: бутуз мой милый, что же у вас тут стряслось? Корова вновь взглянула на хозяина, и на мгновение ее глаза сделались человеческими и рассказали ему обо всех горестных событиях, длившихся неделю. Хуторянин начал дышать часто и тяжело: как же в этих снежных домиках жарко! Затем он спросил с комком в горле:

– А где Лаура? Где твоя сестра?

– Мама! – ответил мальчик в его объятьях и указал на торчащие из-под снега ноги с выражением лица, которое было самым горестным, что Эйлив видел на своем веку.

Затем он отпустил мальчика и принялся откапывать жену.

Он трудился: потрясенный, разгоряченный, несмотря на мороз, с зубодробительным отчаянием, с его лба градом катился пот – в то время как сердце потихоньку покрывалось инеем.

Это тело – тело, которым он не переставал восхищаться, наслаждаться, любить, эта жизненная сила, бушевавшая под ним, бурливо мягкокожая и горячая, каждый раз превращавшая их хижину в озаряемый светильниками дворец любви, где с каждой стороны лежа выставлен почетный караул в тринадцать человек, а в изголовье прикован лев, открывающийся вид на две пирамиды, эта кожано-мягкая светлая овчарня, когда-то дававшая приют их троем ягнятам (один умер, двое выжили)... – теперь он счищал с этого всего снег, словно соль сдохлой рыбы: вот юбка, бедра, талия, живот, кофта, грудь... Все это напоминало овцу, которую он прошлой зимой выкопал из ущелья: одни лишь внутренности, холодные как лед, – все то, без чего жизнь не может обойтись, а все же бросает, когда спешит вылететь из-под снежного заноса.

Его Гвюдни была совсем такой же, как прежде, в ней не хватало только жизни (чем бы она ни была). Он высвободил из-под снега ее руку; снег был грубозернистый, к рукавам пристала холодная изморозь, сама рука была как лед – но мягкая; это была левая рука. О, эти грязноногие, истерзанные работой пальцы – эти, несмотря ни на что, до сих пор изящные пальцы-грезы, вновь подарившие ему жизнь... Тут у него вырвался жуткий звук, затем потекли слезы, ему это пришлось не по нутру, и он принялся расчищать себе побольше пространства в этом гробу, поднял руки к потолку и все рыл да рыл, словно полярный зверь, сооружающий себе на зиму снежное логово, затем смёл накопанный снег и продвинулся вглубь ее спального места, счистил погибельную субстанцию с ее лика и потом долго-долго смотрел в эти закрытые глаза. Его жена была бледна красивой смертельной бледностью, вечно красный след от ожога, тянувшийся от правого локтя по плечу, шее и щеке до самых глаз, сейчас потускнел от холода и стал почти не виден: никогда этот ангел еще не был так прекрасен! Он склонил голову над телом, поцеловал ее губы, и когда его обмороженные клешницы встретились с этими мягкими мышками-подснежниками, ему стало очевидно: мертв как раз он, а вовсе не она. Его сердце было не согласно и посылало мозгу свое изображение. И хотя оно было покрыто льдом, словно парус при буране, было видно, что эта проклятая тварь еще бьется: бум, бум.

В его груди kloкотали вздохи и стоны, словно огонь в очаге; он потерял свою Гвюдни – из-за трех килограммов муки; но тут корова Хельга сказала «му», и он очнулся, вспомнил про мальчика и вылез задним ходом на четвереньках из этого своего последнего супружеского алькова. Но Геста след простыл! Вдруг его тоже завалило?

Эйлив быстро осмотрелся по сторонам и вдруг разом воскрес: что, черт возьми, стряслось с мальчиком? В конце концов он вспомнил про лестницу и ринулся из этого смертного трюма на палубу, которая здесь была шириной с целый фьорд. Ах, вот он где – малыш Гест! Он сидел у мешка, и все его лицо было белым от муки:

– Ам!

## Глава 6

### Трое с чайными ложками

«И даже если пойду я сквозь темный дол, я не буду страшиться зла, ибо ты со мной, жезл твой и посох служат мне утешением». Эйлив вспоминал это, когда шел по светлому долу, неся мальчика на руках. В его голове раздавался голос пастора Йоуна с Сугробной косы: он на каждой похоронах всегда говорил эти слова глубоким басом. Некоторых это злило, и они упрекали пастора в однообразии, но Эйлив был не из их числа, – и результат не заставил себя ждать: он, человек неначитанный, это выучил. «Жезл твой и посох служат мне утешением». Он был доволен пастором, хотя, в общем, соглашался с людьми в том, что тот порой является на кладбище, крепко залив за воротник.

А сейчас похорон предстояло двое: его жены Гвюдни и маленькой Лауры. Когда он откопал правую руку жены, вытянувшуюся от тела вглубь снеговой горы, то в нее оказалась вложена пятилетняя ручонка. Иные при первом шаге падают под тяжестью ноши.

И хотя горе наполовину пожрало его голод, он последовал примеру сына и как следует впрыснул себе в рот молока из коровьего соска, а потом встал, отпустил мальчика, шагнул в сторону от него и испустил из себя мочу по направлению к морю. Если бы читателя в его уютном кресле сейчас перенесли на самую Столбовую вершину, он увидел бы оттуда в глубине белой долины две черные крохотки, одну подлиннее, другую покороче, а затем услышал, как длинная выпускает протяжный вопль, а в это время от нее протягиваются какие-то руки. Крик того человека эхом отразился от крутых гор, приглушенный снегом, а потом замер, но не исчез, а слился с воплями и стонами всех эпох, вместе образовавших так называемый основной тон бытия, который, если как следует прислушаться, можно услышать в каждой долине Исландии.

Коротышке тоже захотелось писать, – что ему в конце концов и удалось после долгих хлопот длинных отцовских пальцев.

Раньше Эйливу не доводилось надзирать за сыновним мочеиспусканием, и он удивился, что из такого крошечного крана хлынула такая мощная струя. Затем он посадил мальчика себе на плечи, и они пустились в путь и сейчас шли вниз с горы к Перстовому хутору, хотя оттуда не было видно ни крыш, ни дыма. Сейчас они, видимо, переходили Перстовое озеро: снежный покров был абсолютно ровным, горизонтальным, и идти здесь было легче, рассыпчатый снежок всего лишь глубиной ниже щиколотки, а под ним – наст.

– Кудя идём?

У Стейнгрима наверняка найдется старый парус или другая ткань, чтоб подстелить под корову. А еще для мертвых тел нужны носилки... Не может же быть, чтоб и у них там все погибли?

Стояло тихоструйное морозное безветрие, и сизые тучи над устьем фьорда были горизонтальными, твердой формы, так что они напомнили Эйливу узор на потолочных балках дома – того самого дома, который был, – на которые он порой глазел по вечерам при свете жирника. Что же он сказал ей на прощание, когда уходил?

– Папкя, кудя идём?

Такая погода – сущая насмешка со стороны небес, черт возьми! Устроить такую благодать именно сейчас, когда все уже позади, когда твоих уже убили... И вдруг хуторянин сник, с ребенком на руках. Его грудь вздымалась и опускалась, рот слюнявился – а у глаз обнаружилось недержание. Мальчик ошарашенно смотрел, как его отец-великан съежился на льду в позу эмбриона и стал выламывать из себя горе, – но вот удивление сменилось неким заботливым выражением; на ребенка, сидевшего на давно промокшем задку, снизошел материнский покой, а отец тем временем свернулся калачом вокруг него – единственного, что у него осталось – и плакал. Эйлив Гвюдмюндссон плакал. Это сочли бы неслыханной новостью в трех

фьордах: этот долговязый овчар – человек, который в начале февраля четыре дня прорывался сквозь погибельный буран к Фагюрэйри, который, разыскивая в горах овец, сменил трех собак – и вдруг плачет!

– Папкя не по́мей, – наконец сказал румяный карапуз, которому явно не хотелось терять еще и отца в придачу к матери и сестре, и он положил голую ладошку на скулу отца, которая на удивление хорошо легла ему в руку и оказалась именно той кнопкой, которая выключила слезоточивое устройство.

– Пошли, Гест, родимый! Отыщем Стейнгрима.

– Тейнгрим доблый.

– Да.

– Тейнгрим не высёкий.

– Нет.

– Тейнгрим лыфый.

– Да.

Название Перстовое особенное: озеро получило свое имя из-за тучи мошки, роившейся над ним, подобно облаку пыли, когда оно впервые предстало человеческому взору. Слово «персть» в древности означало пыль или порошок. Изначально озеро называлось Перстным, но это слово было неудобно рту, и века обтесали его, попутно изменив и его значение.

А сейчас Перстовый хутор, судя по всему, канул в Лету. Они уже перешли озеро и спустились по склону, а до сих пор им не попалось ни досточки. Но все же вскоре они набрали на теснину в насте и вдруг оказались на краю снежной могилы, а под ними трое человек откапывали хутор из-под завала; уже показались крыши двух прилепившихся друг к другу землянок вместе с фасадами, на вид не пострадавшие, а те трое стояли в тесном проходе, который прорыли себе между этими фасадами и стеной, где сейчас стоял Эйлив; от его подошв до двора на хуторе было, пожалуй, метра четыре.

– Сигурд, а не покопать ли тебе снова у ручья?

– А он разве не замерз?

– Подо льдом там обычно что-то бурлит; в глубинах какое-то тепло есть.

– Я раньше таких снегопадов не припомню.

– Нет, по-моему, такого обильного и не бывало.

– А ты в сторону Хижины смотрел, Гисли?

– Здравствуйте! – сказал тогда Эйлив со снежной стены.

Все трое с удивлением подняли головы и увидели, что над ними возвышается тролль, одетый для перехода через горы, держит тощий мешок, а к спине у него привязан ребенок.

– Не, какого лысого! Да ты нас здорово напугал...

Обитатель хижины стоял над своими соседями, облаченный плащом горя и онемения, и ему казалось, что эти люди уменьшились: уж больно они походили на стайку эльфов-малоросликов с чайными ложками в руках. (Лопаты да грабли, которыми хуторяне разгребали снег, отнюдь не самые удачные инструменты для такого занятия. Исландцы, даром что тысячу лет жили в одной из самых многоснежных стран мира, все еще питали надежды на относительную редкость снежных завалов, а значит, никогда не изготавливали орудий борьбы со снегом. Это говорит нам о несгибаемом оптимизме исландского народа. Он раз за разом терпит метели, но постоянно верит, что погода улучшится.) И возможно, он был прав: здесь люди рьяно откапывали, мастерком и чайной ложкой, момент своей жизни, который покуда лежал неизменный, застывший, под слоем снега, словно сохранившееся с древности помпейское утро. Снегопад превратил людей в археологов собственной жизни.

– Стейнгрим, а у тебя парус есть?

– Парус? – переспросил хозяин Перстового хутора.

– Ты сейчас в море собираешься? – пошутил Гисли.

- Мне нужно к тебе корову привезти.
- Это, что ли, в подарок на Рождество?
- А еще мне нужны носилки или санки – отвезти жену и дочь в Сугробную косу.
- Ну, Лив, дружище, ты и отмочил! Значит, Стейнгриму телушку, а пастору девчушку?

Вся троица рассмеялась легким смехом в своей снежной могиле, а малыш, прицепленный за спиной Эйлива словно котомка, вытянул голову из-за отцовского плеча и уставился на смеющихся с хозяйственным выражением лица. Затем хозяин Перстового спросил уже чуть более серьезным тоном, держа руку над глазами на манер козырька от солнца и глядя вверх, на Эйлива:

- Ты, что ли, уезжать собрался?
- Мамкя помейлá.



## Глава 7

### Пение двух душ

Работника Гисли послали за подмогой в Лошину, где местные только что сняли крышу с овчарни. Найти людей было непросто, ведь хлопот в тот день – сам сочельник – было хоть отбавляй. Но смерть есть смерть, – и Кристмюнд заставил умолкнуть все вздохи своих работников и ворчание, что, мол, тут люди сами виноваты, мол, упорство Эйлива ни за что не довело бы до добра. «Таких упорных, как Эйлив, еще поискать», – напомнил фермер-рыболов, а потом принялся расспрашивать своих домочадцев, где Якоб и не ездил ли он за мукой на тот же самый корабль, что и житель Хижины, дней эдак десять тому назад.

К хижине их пришло всего двенадцать, не считая Эйлива. Кристмюнд заключил, что Гвюдни, супруга хуторянина, проявила недюжинную выносливость и смекалку, соорудив себе ложе внутри сугроба, который потом и обрушился на нее саму и маленькую дочку, очевидно, пока они спали, ведь глаза у них были закрыты, так? На это Эйлив закрыл свои глаза и кивнул.

Они еле-еле успели вытащить корову на поверхность до темноты: с помощью раскапывания снега, веревок, воловьей кожи, долгих совместных усилий, а также отчаянного верчения хвостом и копытами. Когда Хельгу подняли наверх, она неожиданно вскочила на ноги, оттолкнула двоих силачей и ринулась на открытый наст, но тотчас провалилась в него по самое вымя и застряла, распустив слюну, – в исландской природе этот вид животных нуждался в ежеминутной заботе человека. Они попробовали вытащить ее, но провалились сами и на несколько мгновений усомнились в том, что жизнь в этой стране вообще возможна. Эйлив стоял чуть поодаль, пялился на сероватые кустистые облака в небесах, и ему казалось, что небо обрушилось на него. Мальчика он оставил у женщин в Перстовом.

Им снова пришлось проявить терпение и сноровку, когда они откапывали ноги коровы, чтоб она не сломала их, когда ее перекатывали на воловью шкуру. Наконец скотинку поволокли прочь от раздавленной хижины, и она три раза испустила жуткий рев в быстро синеющие декабрьские сумерки, словно вдруг осознала, насколько серьезно дело, и решила как следует постараться для этой санной похоронной процессии.

Впереди шли четверо человек, сильно наклонившихся вперед; они тянули каждый свою веревку, привязанную к одному из углов шкуры. За ними – корова Хельга. Следом – двое человек, при необходимости подменявших тягачей или подталкивающих корову сзади. Затем – двое мужчин постарше, тащивших тело Гвюдни, привязанное к носилкам, поставленным на лыжи. За ними – двое мужчин помоложе, один из которых тащил тело Лауры, также на лыжных носилках. За ними по лыжне шагали двое коллег – Кристмюнд со Стейнгримом. Никто не проронил ни слова. А вскоре и заря догорела, и дорогу им освещала лишь белизна снега. Иногда смерть – медленно движущаяся толпа мычащих теней.

В десяти метрах позади них плелся Эйлив, словно человек, замыкающий шествие собственной жизни.

Держать Гвюдни за плечи, пока ее выкапывали из-под снега, выпало Кристмюнду. Прежде чем приложиться своей белой головой и короткой белой бородкой к ее красивой щеке, он снял шапку. Эйлив был слегка ошарашен этим зрелищем – и вдруг ощутил, что всего лишь ненадолго брал жену взаймы, а на самом деле она всегда была собственностью крупного фермера из Лошины. Потом он отказался смотреть на свою дочь – просто не смог (кто захочет глядеть в нутро смерти?) и отвернулся, сосредоточившись на том, что взметнулось со дна его души: то было видение волн на море, громадных жутких волн, а он – в открытой лодке в бушующем море огня, и языки пламени перехлестывают через борт, а Кристмюнд у штурвала, у него уже загорелась борода, но он не тушил ее, а вместо этого облизывался и забирал пламя в рот.

А сам Эйлив сидел у борта, возле сетей, и тянул, тянул со всей силы, пока из огненной пучины показалась... нет, не акула, а прелестное личико ребенка, которое сказала такую вису<sup>17</sup>:

А я умру, умру я сам,  
и в мире жить не буду.  
Одно тебе в наследство дам:  
тебя не позабуду.

И лишь когда они спустились к озеру, где им пришлось остановиться, чтоб поправить кожу под скотинкой и получше привязать одну веревку, он нашел в себе силы украдкой посмотреть на тело Лауры. Тягачи замешкались надолго, потому что корова была тяжелая как горе, и Эйлив нагнал их, когда брел в низину, – и там она была: на задних носилках, положенных на снег. Веревки пересекали ей грудь, талию и лодыжки, она превратилась в багаж – он до ужаса ясно это видел: ребенок стал багажом, холодным как лед. И все же Эйлив осторожно приблизился и наконец заглянул ей в лицо – и его выражение выбило Эйлива из колеи: настолько оно было суровым. Девчушка была явно недовольна, что он пожертвовал ее жизнью ради трех килограммов муки.

«Куда же я дел тот мешок?» – эта мысль должна была помочь ему выбраться из бездны, и сейчас он держался за нее как за соломинку всю дорогу до Перстового, – а там хозяйка Эльсабет выставила ответ на стол в виде мучных пирожков с пылу с жару для тринадцати замерзших мужиков. Он видел, как Гест уплетает их один за другим, сидя на коленях у работницы на кровати в глубине бадстовы: судя по всему, малыш уже стал для этой работницы королем и светом ее очей. И только сейчас Эйлив отдал себе отчет в том, что настало Рождество.

Эйливу и его двенадцатым помощникам пироги пришлось весьма кстати; после такого изнурительного перехода им еще пришлось прокапывать в снежной стене траншею перед самым входом на хутор, чтоб корову можно было спустить перед домом и загнать внутрь: двери в хлев там располагались как раз посередине коридора. Зато мертвые тела, после обсуждений, решили в дом не заносить. Откопать сарай еще не успели, а Эльсабет заявила, что под ее крышей смерти не место: ни в кухне, ни в хлеву. Муж попытался переубедить ее, но она была неумолима, причиной этому служило то, что ее брат умер во цвете лет после того, как на хуторе их родителей подержали в доме тело мертвого странника.

Жители Лощины поздравили всех с Рождеством, а потом вскарабкались на сугроб и отправились восвояси, скрылись в темноте, где земля светлее неба, двигаясь по тропке, которую еще на днях протоптал в снегу работник Гисли. Мертвые тела втиснули между постройкой и снежной стеной, головами вверх, прислонив затылками к фасаду, а ручки носилок воткнули в угол сугроба.

Ночью опять разыгралась метель, и Эйлив лежал без сна и слушал храп своего соседа по кровати, длиннорядного работника Сигюрда, и похрапывание в других кроватях попеременно с завыванием ветра. Можно было явственно расслышать, каким белым и холодным было это пение над теплым мраком, наполнявшим бадстову. Но в этой ночной черноте он все же различал предметы: столб в изножье, висевшую на нем отгоревшую лампу, ниточку вереска, свешивающуюся с травяной крыши из щели между двумя продольными балками над ним; при наиболее сильных порывах ветра она чуть трепетала. Он подвесил на этот стебелек свои глаза, словно две ягоды голубики, и попытался вспомнить одну студеную вису, которую знал, но вспомнил только последнюю строчку: «У свечи лета фитилек – малёк».

Но с утра во дворе никаких следов метели не обнаружилось: ни наносов, ни наметов – стало быть, ночью погода была тихой. Возне на крыше объяснение нашлось, когда мертвецов

---

<sup>17</sup> Стихотворение в традиционной исландской поэтической манере с обязательной рифмой и аллитерацией.

осмотрели. Они стояли, как их поставили – только их подбородки отвисли, и рты оказались открыты настежь. С точки зрения комического ока вселенной мертвые мать и дочь напоминали двух стоящих навтыжку поющих дев.

## Глава 8

### Какие в той местности были волосы

Вновь и вновь вспоминал Эйлив то зрелище: Кристмюнд из Лощины прикладывает свою щеку к щеке Гвюдни и поднимает ее из снежной могилы: бережно, ласково. Как уже говорилось, свою шапку зажиточный фермер снял, и густые волосы разметались по его лицу, покрасневшему от стояния нагнувшись. И чтобы отвести свой разум от неудобных мыслей, Эйлив сосредоточил свой внутренний взор на шевелюре хозяина Лощины, этой кустистой копне, настолько непохожей на головную поросль других жителей этого хреппа<sup>18</sup>, что она одновременно заключала в себе ответы на вопрос, почему его уважали – и почему многие питали к нему недоверие, смешанное с завистью. И корни этой недоверчивости были весьма глубоки, ведь исландцы издавна оделяли своей подозрительностью густовласых.

Заселила эту страну публика, около 900 года бежавшая от произвола норвежского короля Харальда Прекрасноволосого, и с древности считалось, что у самих исландских первопоселенцев по части растительности на голове было негусто: жидковолосые или совсем безволосые конунги-плешивцы да их жены с тощими косицами. Все как есть – дети Грима Лысого да Ньяля Безбородого. А тот король получил свое прозвище потому, что дал обет не стричься, пока не подчинит своей власти все фьорды Норвегии; значит, можно сказать, что первые поселенцы в Исландии спаслись бегством от волос. И на своей новой земле они тотчас принялись сбривать под корень леса. С тех пор исландцы не любили никакой поросли: ни на склонах, ни на головах, а лучше всего чувствовали себя среди голого простора, хотели, чтоб им открывался вид на море и чтобы листва и пряди не лезли в глаза. Самым красивым зрелищем они считают сверкающую под небом лысину ледника и требуют, чтоб их горы и пустоши были полностью голы. При крещении Исландии юную нацию больше всего раздражали пышные волосы Христа. По ее мнению, боги должны быть редковолосы от вечной жизни, мудрости и глубины – как то водилось среди языческих богов.

И духовные лидеры в Исландии, от Ньяля до Арасона<sup>19</sup> и Сигюрдссона<sup>20</sup>, не могли похвастаться обильными волосами, и поэты – от Снорри<sup>21</sup> до Хатльгрима-псалмопевца<sup>22</sup>. В бездревесной стране длинные волосы были табу – о чем свидетельствует вековая ненависть исландского народа к Халльгерд Лангброк<sup>23</sup>. А ее мужа в действительности убили именно за красивые локоны. Исландцы прекрасноволосых никогда не любили.

Хозяева хутора Лощина, Кристмюнд и Кристбьёрг, оба блистали пышноволосостью. Знаменитые волосы хозяйки, черные и мягкие как шелк, спускались ниже спины, ведь она регулярно мыла их коровьей мочой. Белоснежная копна хозяина была мягка как пушица и густа как шерсть. Кристмюнд, единственный в Сегюльфьорде крупный фермер, рослый и красивой масти мужик, хозяйство вел образцово, имел целый хор детей и держал множество работников.

Когда-то волосы у Кристмюнда были «басковые», это значит черные. Но много вёсен тому назад его земляки, ради пьяной в дым завистливой забавы, обрили его налысо ножни-

---

<sup>18</sup> Хрепп – наименьшая территориальная единица в старинном административном делении Исландии.

<sup>19</sup> Йоун Арасон (1484–1550) – последний католический епископ Исландии, обезглавленный в эпоху Реформации.

<sup>20</sup> Йоун Сигюрдссон (1811–1879) – лидер движения за независимость Исландии от Датского королевства в XIX веке, одна из крупнейших фигур в истории Исландии.

<sup>21</sup> Снорри Стурлусон (1179–1241) – великий древнеисландский литературный и политический деятель. Справедливо ли утверждение автора в его отношении, сказать трудно, т. к. о внешности Снорри сведений не сохранилось.

<sup>22</sup> Хатльгрим Пьетюрссон (1614–1674) – крупнейший исландский поэт XVII века, пастор и автор псалмов.

<sup>23</sup> Персонаж «Саги о Ньяле», жена Гуннара из Хлидаренди, своим поведением спровоцировавшая развитие конфликта, в т. ч. гибель Гуннара. Один из вариантов значения ее прозвища – «Длинноволосая». Отношение исландцев к этой героине действительно много веков было резко отрицательным.



цами для стрижки овец, пока он спал во хмелю на третий день свадьбы своей дочери. Через несколько дней на испещренной порезами лысине вновь выросли волосы, но абсолютно белые. Через пару недель голова хозяина Лощины совершенно побелела, и буквально в то же время в устье фьорда появился красивый высокий айсберг. Тогда море стало часто замерзать; это продолжалось до сих пор, а виновными в этом считали тех, кто тогда в Лощине учинил эту выходку с бритьем: мол, эти мерзавцы тем самым бросили вызов судьбе, – и все ругали «бри-тые льды» в хвост и в гриву.

В те годы пастором в Сегюльфьорде служил преподобный Йоун Гвюдфиннссон, а сидел он в Сугробной косе. Волосы, такие как у него, густые и на удивление выющиеся, народ называл «ненашенскими», – и это, наряду со многим прочим, затрудняло пастору несение службы. Из-за «вавилонов на голове» паства не хотела верить его словам, даже цитатам из Заветов. «У всех богов волосы прямые, кроме Бахуса», – якобы сказал когда-то Лауси с Обвала, и всем было ясно, на кого он намекает. Пасторская шевелюра была самой пышной во всем хреппе, по его голове взвихрялись вихры, напоминавшие гряды облаков, которые крутятся вокруг Земли, но они могли и неподвижно торчать целый день, если их поворошить.

Сигюрлаус Фридриксон, хозяин хутора Нижний Обвал (или, как его прозвали, «До следующего обвала», – этой шутке было уже много веков), был духовной возвышенностью этой местности, художавым рассадником юмора и рассказов, прекрасно управлявшимся и с рифмами, и с досками, а значит, желанным гостем на каждом хуторе: его привечали и за вирши, и за плотницкую работу. Все свои гонорары он принимал исключительно в рюмочной форме, но, выпив, никогда не становился скучным, напротив, казалось, винный дух лишь взбадривал в нем другой дух: чем больше в него вливалось, тем больше выливалось из него острот, стихов, поэм, занимательных рассказов. Лауси придерживался золотого правила всех хороших авторов: «Дай мне, Господи, силы примириться с тем, что правдиво, мужества облечь его в вымысел и мудрости, чтобы отличить одно от другого». У его жены, Сайбьёрг, от жизни с таким супругом волосы уже давно встали дыбом, но все же она всегда сидела рядом с ним на пирах, с натянутой улыбкой и поднятыми бровями, уставившись в пространство.

Эйлив из Перстовой хижины был темноволос, лохмат, с патлами, свалывшимися, как у старой овцы, а борода курчавилась мелкими ягнячьими завитками и была вечно юной, хотя его щеки уже носили следы первых заморозков. Зато у его жены Гвюдни локоны были просто загляденье: светлые, выющиеся. На трех хуторах во фьорде хранилось по пряди ее волос, и многие соперничали за нее саму, когда она, юная и цветущая, пришла вместе с матерью наниматься к Кристмюнду в Лощину. Но когда она покалечила руку и получила ожог щеки из-за несчастного случая на кухне, толпа поклонников резко поредела. И все же жители Лощины не испытали особого восторга, когда из всех возможных женихов к ней посватался Эйлив Гвюдмюндссон, этот долговязик из Хейдинсфьорда, с которым хлопот не оберешься, который прославился тем, что дельфинятину украл, – и он получил согласие! Тогда он, вроде бы, начал возводить себе хутор, да какой там хутор – одно название! – землянку в глубине фьорда, за землями Перстового. «Кто же мне тогда будет по утрам кофе подавать с такой ласковой улыбкой?» – думал Кристмюнд Белоголовый. Но девушке уже грозило вот-вот стать перестарком, а приговор, когда-то вынесенный Эйливу, считай, запорошило снегом.

Минуло уже шесть лет с тех пор, как пасторское благословение превратило батрака и батрачку в свободных малоземельных фермеров.

## Глава 9

### Магнит

Как и многие другие фьорды Исландии, Сегюльфьорд получил свое название от первого человека, проснувшегося возле его гор, а произошло это 999 лет тому назад. Но, как известно, людьми Исландию заселили позже всех других земель, и она долгое время была державой гордых гор, независимой от человеческой настырности, населенной лишь птицами, моржами, тюленями да лисами. Даже народы Крайнего Севера, множившиеся и размножавшиеся вокруг полюса, боровшиеся за существование на самой мерзлой в мире мерзлоте, не желали селиться в Исландии, а ведь во все эти ледниковые периоды добраться до нее было несложно.

Заселение этого изрезанного бухтами острова состоялось в 800900-ые годы и проходило согласно классическому правилу всех первопоселенцев: «Кто первым пришел, того и земля». Люди направляли свои суда к берегам Исландии, огибали остров, пока не находили незанятый фьорд, – почти как в бассейне, когда приходишь в раздевалку и осматриваешься в поисках свободного шкафчика. Когда таковой обнаруживался, люди снимали с себя пальто и шкуры и вешали в этот пустой шкафчик, таким образом давая знать: «Теперь он наш!» – и давали ему свое имя: Ингоульвсфьорд, Торгейрсфьорд, Лодмундарфьорд...

Тот шкаф, о котором речь у нас, взял себе Кольбьёрн Сегюль. В ту пору большинство шкафчиков было уже занято. Он был шведских кровей, родом с материка. Как сказано в «Книге о заселении земли», «кровь его бежала по жилам на востоке». Свое прозвище он получил благодаря мечу Секулю, сделанному из того доброго металла, который происходит из Георгийских гор, именуется «магнит» и натуру имеет такую: притягивает к себе все ценности, какие встретит на пути, прочее же оставляет. К этому мечу примагничивались кольца и монеты, ожерелья и другие украшения, золото и серебро, – так Кольбьёрн и разбогател. И свой шкафчик назвал Сегюльфьордом<sup>24</sup> – Магнитным фьордом.

На северном побережье Исландии есть три фьорда, которые разрезают свои пасти навстречу Ледовитому океану и считаются самыми северными в стране: Сегюльфьорд, Хейдинсфьорд и Оудальсфьорд. Первый из них самый западный, короткий, продолговатый, украшенный двумя плоскими мысами. Мыс, расположенный ближе к устью, называется Сегюльнес – там стояло жилище первопоселенца; он до половины перегораживает вход во фьорд с востока, а тот, что в глубине, называется Сугробная коса. Он чуть больше и перегораживает фьорд с запада. В глубине фьорда, совсем недалеко от моря, расположено Перстовое озеро. Средний фьорд называется Хейдинсфьорд, он длинный и узкий – наполовину море, наполовину долина. На востоке лежит Оудальсфьорд, и он самый короткий на вид.

Эти три фьорда окружены четырьмя горными грядами, чьи склоны круто обрываются в море. С высоты они напоминают горную вилку с четырьмя зубцами, которую кто-то положил на водную скатерть. Вокруг фьордов берега обрывистые и горные склоны неприступны, но выше в горах чередуются вершины и впадины, лишь немногие из которых проходимы. По этой причине добраться из одного фьорда в другой крайне трудно. Здесь часты бури и бураны, море заливает, а снег заваливает.

Но на земле едва ли найдется край, столь же прекрасный в те три недели лета, когда солнце болтается над устьем фьорда, словно лавово-раскаленный райский маятник, и в своих выверенных колебаниях лишь слегка задевает поверхность моря. Тогда все ночи светлы как

---

<sup>24</sup> Это название (как и все место действия романа) вымышлено – но недвусмысленно отсылает к североисландскому городку Сиглюфьорду (Siglufjörður), с которым у места действия романа совпадает географическое положение и основные события в истории рыболовного промысла.

струи водопада, среди вереска и снегов царит умиротворение, а природа столь великолепна, что заезжий путешественник рискует с непривычки потерять рассудок.

## Глава 10

### Ледяная лава

На второй день Рождества пришло солнце и тепло с юга, и травяные крыши землянок восстали из-под снежной целины, словно форштевни кораблей из пучины. Во всем фьорде лавина не поломала ни одного дома, кроме хижины Эйлива, хотя у Магнуса с хутора Верхний Обвал завалило овчарню и погибло 37 овец и два барана. Неожданная оттепель превратила снег, заполнивший фьорды, из тяжелого груза в нечто грубозернистое рассыпчатое, ни пройти ни проехать. Добраться до хлебов, чтоб подоить и покормить скотину – и то подвиг; ковылять по этому ледяному зерну все равно что ходить по хрустальной крошке.

Тогда во льду, сковавшем фьорд, открылись три полыньи, и в самой дальней из них показался кит. Он испустил из себя фонтан, – хотя в тех краях и не знали, что бывает такое архитектурное сооружение – «фонтан».

А через два дня сильные северные ветра принесли мороз, и хрустальная крошка смерзлась в одно сплошное, словно лавовое, ледяное поле, и оно покрыло всю землю во фьорде от края до края, а подступы к хуторам превратились в каток. Сейчас наконец появилась возможность сходить к плотнику Лауси за двумя гробами и взять с собой мертвые тела, чтобы наконец избавить Эльсабет от этих «певуний» на дворе. Сигюрлаус с Нижнего Обвала был приятелем Эйлива, и прощание с покойницами решили провести на его хуторе, тем более что до Сугробной косы оттуда было рукой подать по льду через фьорд даже для хорошо выпившего пастора.

В тот день дул до дрожи резкий северо-восточный ветер, а «лавовое поле» было то пористо-скользким, то гладким как стекло. Не успели поезжане добраться до Альвова холма, что в устье речки в глубине фьорда, как буря стала крепчать так, что идущим пришлось сделать в своем походе перерыв. Они решили крепче подвязать веревки на покойницах, потому что ветер подхватывал санки. Но куда люди заново завязывали узлы, вышло неладное: часть шерстяной юбки Гвюдни выбилась из-под веревки, которой были крест-накрест перевязаны ее лодыжки. Ураган в мгновение ока подхватил этот кусок юбки, и он надулся словно черный мешок-парус, – и тут санки мигом унеслись прочь по склону, твердому как лава, и дальше по берегу реки, а позади них трепетали веревки и канаты, образуя кильватер, который виден, когда мертвецы всплывают в царствие небесное. Все произошло так быстро, что поезжане только и успели проводить взглядом санки с покойницей, – в профиль напоминающие сверхскоростное техническое устройство из будущего, – когда те пронеслись по Перстовому озеру, сейчас представлявшему один сплошной сияющий мраморный пол. Гвюдни развила такую скорость, что санки, доехав до другого берега, взмыли вверх по пологому склону и переехали невысокий кряж. И все увидели, как она скрылась там, в белизне гор.

Эйлив, желая не допустить, чтоб дочь отправилась тем же путем, рухнул на колени и склонился над ее телом. Оттепель разморозила ее лицо: теперь она уже не пела, а нижнюю челюсть ей подвязали веревкой, так что рот был закрытым. А в целом мороз сильно потрепал ее: на почерневших губах – белый иней, на щеках – гнилые пятна.

Затем они развернулись, прочь от ветра, и отправились домой, на Перстовый хутор. Через два дня двое человек пошли искать Гвюдни и обнаружили, что зверье затащило ее в свой тайник, а икра левой ноги у нее перегрызена.

## Глава 11

### К северу от солнца и от Рождества

Первый день нового года появился из ящика комода Всевышнего словно прозрачное небесное покрывало, которое он вынимает раз в год, чтоб расстелить над буднями свою праздничность. После недавних треволнений решили похоронить мать с дочерью во время самой рождественской службы, по разным обстоятельствам перенесенной на Новый год. Морозы все еще стояли нешуточные, но пастор Йоун должен был воспользоваться оттепелью, чтобы подготовить для них могилы.

Хоть погода выдалась хорошая, а в полдень небо было ясное, солнца нигде не было видно. Даже в первый день года оно не удосуживалось показаться, а было где-то за этими высокими белыми горами, окружавшими фьорд с трех сторон. Солнечного света здесь не водилось с 15 ноября по 28 января.

Но из ящика комода Создателя также высыпался тончайшим слоем свежий снежок, так называемая ночная пороша. И вся земля оказалась покрыта белой скатертью при безветрии, и небесная синь отражалась в сосульках на застрехах церкви и Мадамина дома, как называлось жилище пастора. Но вся эта праздничная красота в основном прошла мимо траурно одетых борцов за существование, которые сгрудились хорошо утепленной толпой перед церковными дверями, ожидая церковного помощника (он ушел за ключом), и скорее плакались на невзгоды старого года, чем радовались приходу нового. Магнус с Верхнего Обвала, вытянутый человек с длинной бородой, плохо скрывавшей отсутствие подбородка, стоял в центре толпы и выслушивал соболезнования: ведь та лавина в сочельник погубила его овец. У северного фасада Мадамина дома скучали несколько лошадей, словно скорбящие с опущенными головами.

Но никто не замечал, что на кладбище близ северо-восточного угла церкви трое человек с ломами и кувалдами спешили вырубить в мерзлоте могилы.

Жители Сегюльфьорда уже третье Рождество кряду ходили в церковь через фьорд по льду. «Это ведь все равно что в церковь по полу войти?» – спрашивал кто-то. «А-а?» – раздавалось в ответ после небольшой паузы, и слышно было плохо. Они всегда приходили первыми на мессу и первыми уходили домой, эти молчаливые щекастые люди, и манеры у них были просоленные, и головы проштормленные, но они славилась тем, что отлично обрабатывали акулятину. Они жили на разных хуторах – и все же лица выдавали, что они все из одной местности. Было трудно понять, кто здесь муж с женой, а кто брат с сестрой, ведь этот народ с самой эпохи заселения земли из поколения в поколение боролся за существование на этой самой дальней оконечности острова, и сейчас все они состояли в родстве настолько близком, что дальше некуда. Бывало, что это маленькое сообщество страдало от нехватки женщин, когда у всех рождались одни мальчики, а порой не хватало мужчин, когда у всех накапливались дочери. Тогда местным родам приходилось уповать на семья моряков, потерпевших крушение, и засунуть свои предубеждения против пышных волос куда подальше. (В известном рассказе бретонца XVII века Бреваля Морвана говорится, как он один остался в живых после крушения и пробирался к человеческому жилью сквозь прибой и метель по приливной полосе под скалами к востоку от Сегюльнеса, – по одной из самых труднопроходимых в этой стране дорог. Но после этого ему пришлось напрячь все силы не меньше: его уложили в постель и заставили ублажить пять хозяйских дочерей.)

Церковь в Сугробной косе была довольно новой постройкой – средней величины классический деревянный неф с колокольной, – но расположена совершенно не по-христиански: ее двери смотрели на юг, а хоры – на север, вместо того чтобы, как водится у христиан, повернуться алтарем к восходящему солнцу, ибо их бог – солнечный. А вот бог Сегюльфьорда был

ветровым, а на северном побережье всякая тварь знает, что к ветру лучше поворачиваться задом, а самый лютый ветер всегда дует с севера. А что касается задней части, то тут уж не важно, освященная она или нет. Так новая церковь выдержала тринадцать ураганов, повернувшись к ветру, словно лошадь зимой в горах. На ее скамьях могла разместиться почти вся паства, хотя заднему ряду несколько лет назад пришлось уступить место роскошному органу, который принесло морем и в целости и сохранности вынесло на берег. На нем была надпись *“Farrand & Votey”*, а остряки прозвали его «Фанфарон из вод», после того как его с большим трудом втащили в церковь. Этим церковным имуществом народ гордился, – хотя первого органиста в Сегюльфьорде еще предстояло дожидаться.

От толпы, стоящей перед церковными дверями и облаченной в свою самую приличную одежду, струился морозный пар. Люди всегда приходили в церковь рано, чтобы занять место, пока там не расселись как у себя дома эти сугробноносцы: ведь совсем рядом жила самая большая во фьорде семья, число человек в ней порой доходило до двадцати, и большинство из них обреталось на Старом хуторе – в живописных землянках к северу от церкви. В Мадаминском доме жили только пастор, его мадама и вдова предыдущего пастора, а также экономка и помощники. В большой бадстове Старого хутора постоянно ночевали всякие залетные мореплаватели, застрявшие на берегу; сейчас это были четверо норвежцев, ждавших, пока море очистится от льдов, – благочестивые богомольные моряки, которые уже научили всех на хуторе словам «фи» да «фан»<sup>25</sup>, а сами ни одного исландского слова взамен не выучили. А еще преподобный Йоун по доброте своей взял к себе из хреппа убогих, целых восемь штук, среди которых больше всего выделялись трое стариков-мокроштанников: Сакариас, Йоунас и Йеремияс, – и сейчас они все трое, один за другим, высыпали из землянки. Из-за имен пастор прозвал их своими пророками.

Прихожане молча наблюдали, как старый Сакариас преодолевает эти пятьдесят метров от землянки до церкви. Его походка была деревянной, ноги разъезжались, и шерстяные подштанники, доходящие до паха, болтались между тощими старческими ногами, которые он переставлял – сперва одну, потом другую, – словно тяжеленные шахматные фигуры по доске, а его руки низко свисали. На них болтались варежки, казавшиеся необычайно длинными и от этого напоминавшие промокшие крылья морской птицы. – Последний день года! На ужин каша! – сообщил он: одновременно никому и себе самому.

Гримаса беззубого рта придавала ему отталкивающий вид, да и прозрачные, как у мертвеца, глаза в глубоких глазницах тоже не добавляли привлекательности. А если прибавить к этому соломинки, украшавшие его икры, ляжки, плечи, патлы, создавалось полное впечатление, что в церковь направляется выходец из могилы.

По крайней мере часть его уже перешла в иной мир: когда старец приблизился, стало видно, что левая нога у него боса.

– Разве новый год уже не настал? – спросил мальчик из глубины долины.

– О, нет. О, нет. На ужин каша!

С криком пробежала батрачка, несущая ботинок и носок, и стало видно, как наш знакомец Эйлив внутри могилы остановился, опираясь на лом. «Подумать только, я тут wygrызаю в земле последний приют для моей Гвюдни, а этот ходячий костяк все еще прозябает на свете!» Итак, преподобный Йоун вовсе не удосужился воспользоваться неделей оттепели и не велел тогда выкопать могилы. Эйлив трудился с тех самых пор, как накануне привез гробы, и лишь сейчас прокопался сквозь замерзший слой земли, – и тут раздался похоронный звон. Но он продолжил орудовать ломом, а Лауси, изготовивший гробы, стоял над ним и убеждал его, что пастор все еще дома и в церковь пока не заходил. На подмогу им был прислан рыжий и конопатый мальчишка из поселка, отряженный самим пастором.

<sup>25</sup> *Fy faen!* – Тьфу ты, черт! (норв.)

Наконец сей великий деятель церкви показался на высоком крыльце Мадамина дома, он снизошел по ступенькам в полном облачении: черной рясе, белом воротнике. А волосы у него были вьющиеся, что придавало ему вид весьма тролльский, но отнюдь не пасторский – ведь кто ж воспримет всерьез пастора с такими волосами? Но его толстошее лицо, на котором была написала крайняя серьезность, открылось взорам, когда Йоун сошел с крыльца, и повернулся, держась рукой за перила, и сделал передышку, прежде чем направиться в церковь. А за ним шла его супружница, одетая в простую вязаную одежду, маленькая, изящная, – таких двух можно было бы сделать из этого человека, который в своей рясе казался просто горой – но горой бродячей и бегучей.

– Вот, сейчас он мне нравится, – сказал Лауси, отодвигая прядь от глаз. – Но сейчас пора прекращать. Лив, дружище, все равно ты их глубже не зароешь.

Эйлив, весь взмокший от натуги, отложил лопату, взял с кучи выкопанной мерзлоты свою шапку, стер ею пот со лба, а потом позволил себе выругаться на освященной земле. Что это за страна окаянная: сначала жить нельзя из-за снега, а потом умереть по-человечески нельзя – из-за него же! Затем он попросил мальчишку продолжить выгребать землю из ямы: в могиле должно хватить места на два гроба. Они пошли вдоль сводчатых окошек церкви, и в голове Лауси зажглось начало строфы:

К северу от солнца, от оконца,  
да на северá от Рождества...



## Глава 12

### Падение пастора

Когда наши приятели вошли в церковь, на скамье собралось уже столько народу, что супруг и отец покойниц туда уже не помещался. Эйлив рассчитывал, что место для него оставили в первом ряду, как это было принято, но его правое крыло уже заполнили живущие здесь норвежские моряки и другие местные, а с левой стороны были постоянные сиденья пророков. Рослому хуторянину были видны их затылки: три подрагивающие безликие головы, окруженные белыми космами; казалось, они издевательски ухмыляются ему. Воздух в церкви тотчас стал тяжелым – его загрязнил перегар, тянувшийся от большинства фермеров, которых пастор до службы приглашал к себе. А пол был мокрым от табачных плевков и тающего снега, и многие в публике пристроили кожаные подошвы своей обуви на перекладину для ног. Крошечные псалмовники виднелись в руках – крупноуставных, красно-бурых от работ на морозе, лишь изредка какая-нибудь домохозяйка щеголяла в искусно связанных варежках. Малыш Гест, стоявший на руках у работницы с Перстового, увидев отца, заорал на всю церковь: «Папка!» Перед алтарем стояли оба гроба: просто сколоченные наподобие ящиков, грубо выкрашенные черной краской. Из-за тесноты маленький гроб поставили на большой, и эти стоящие штабелем гробы больше всего напоминали непозволительно громоздкую посылку на небеса.

Преподобный Йоун с трудом протиснулся между этим штабелем и передним рядом скамей, но зацепился своей рясой за гвоздь, торчавший из нижнего гроба, рванул ее, шумно и тяжело дыша, и край подола треснул. То тут, то там отдельные лица снова повернулись к Эйливу, мямлевшему на пороге, но никто не уступил места вдовцу: мол, сейчас служба также и рождественская, так что теперь тут сижу я! Наконец Эйлив встал в задней части церкви и оперся рукой на орган из вод. А Лауси подсуетился, проворно забежал вперед него и пристроил свою левую ягодицу на подоконнике. В самом заднем ряду, перед органом, сидели Стейнка и Эйнар из Хуторской хижины со своими четверыми детьми: лица дряблые от голода, а спины – заплата на заплате, от них струился густой запах хлеба: поговаривали, что супруги по ночам клали между собой корову.

Сейчас большинство жителей хреппа (кроме старой сребровласой пасторши, оставшейся в Мадамином доме за вышиванием, и нескольких дряхлых стариков, гревших лежанки то тут, то там во фьорде) собралось в церковном «корабле», и сейчас была бы пора отчаливать в лучший мир, если бы капитан не был в таком скверном состоянии.

Сейчас он возился с перилами вокруг алтаря: они были высотой ему по колено, в них была калитка, через которую он должен был войти, – его место было там, там и должно было начаться богослужение. Он некоторое время корпел над этой детской задачей, но – боже мой! – замок почему-то все время распухал перед его глазами и под пятью неловкими пальцами, словно тот огромный латунный калач, которым запирают ворота самого рая. Отпереть этот адский механизм было вообще невозможно! Наконец он выпрямился, сделал долгую паузу и послал восхитительно пьяный взгляд в заднюю часть церкви, на своего помощника, прозывавшегося «Марон-родной», который стоял возле закрытой двери рядом с Эйливом: грудь колесом, а голова недавно острижена. Но Марон-родной был простая душа и к своей роли относился серьезно, поэтому ему вообще нельзя было соваться в пасторские дела, от него требовалось лишь открыть церковь, позвонить в колокол да проследить, чтоб номера псалмов на стене<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> В лютеранских церквях скандинавских стран тексты псалмов и гимнов идут в псалмовниках под номерами, и номера псалмов, предназначенных для исполнения хором во время того или иного богослужения, выставляются на стене перед скамьями прихожан.

были верные. Все это он уже выполнил и теперь стоял навтыжку, задрав подбородок – рядовой солдат Господа.

А его командир сейчас предпринял финальную попытку и помахал ему рукой (перекриваться через гроб нельзя, даже если ты пьян в лоск), а Марон-родной ответил ему тем, что быстро отдал честь по-военному, как он видел на палубах кораблей, крича взглядом: «Все готово, ваше благородие!»

Тут преподобному Йоуну Гвюдфинссону стало ясно: свое затруднение ему придется разрешить самому; и он рискнул перелезть через перила. Но рясу он при этом задрал не слишком высоко, и она натянулась над перилами и помешала ему как следует шагнуть. Дородный пастор свалился внутрь отсека, который создавали перила вокруг алтаря, и крепко ударился головой о планки на той стороне. Женщины, бывшие в церкви, издали изумленный «ах», а в остальном паства приняла это в спокойствии и молчании. Их пастор лежал на левом боку в алтаре, спиной к прихожанам, словно громадный морской тюлень, почти неподвижно, от него лишь послышался глубокий стон, а затем – тяжелое дыхание.

Долго-долго все было недвижимо: и губы помощника, и прихожане на скамьях, – но вот наконец пастор принялся храпеть. Во время этой части программы паства терпеливо сидела на местах, даже сублинная пасторша не встала. Люди решили дать своему пастырю поспать, раз уж ему было так надо.

Немногие народы относятся к недотепам и неудачникам так хорошо, как исландцы, – а те наиболее щедро проявляют доброту, если какой-нибудь высокопоставленный бедолага упал низко. Тогда их снисходительность просто расцветает. Может, так сложилось из-за того, что борьба за существование у них была столь сурова, а смерть караулила за каждым бугорком (сходить задать корм скотине – и то могло оказаться опасным для жизни) – и тогда народ уже не принимал чересчур близко к сердцу, что, например, сислюманн ночью обмочил постель, после ужина взгромоздился на хозяйку хутора или повышибал работнику зубы. Все это скорее было предметом для радости, для положительной характеристики большого человека – ведь о таком ходили предания, сочинялись легенды, для развлечения в безрадостные зимы. Сильнее Христа, Короля и Северного ветра исландцы чтили рассказы, таков был их обычай, их вклад в мировую культуру, и эти слова были неразрывно связаны: «исландцы» и «рассказы». Этот народ верил в бога рассказов, и в этой религии рассказам о начальниках отводилась большая роль. О людях примерных рассказать можно было мало, и они в этой стране не задерживались на пьедесталах. Народу хотелось, чтоб начальство у него было беспутным, и он находил удовольствие в том, чтоб восхищаться его бесчинствами. Мужикам – обитателям хижин это тоже дозволялось, но тогда они должны были «уметь рассказывать истории». Именно по этой причине Лауси с Обвала сходило с рук что угодно, а Эйливу – нет. Историй он не знал, в его голове царили картины, но у него никогда не получалось облечь их в слова. Поэтому когда он стучался в чью-нибудь дверь, то всегда получал в ответ «ох» да «фу».

А пастор все спал. Лишь норвежцы удивленно переглядывались – но наконец и они сошлись на фразе «в каждой стране свой обычай» и решили промеж собой, что в Исландии богослужения именно так и начинаются: священник плюхается у алтаря.

Очевидно, ни одна алтарная доска никогда на своем веку не удостоивалась такого пристального внимания и рассматривания, как сейчас. А может, эти красивые картины как раз и были задуманы как экстренная заставка, если передача запаздывала. В толстой серо-голубой раме просматривалась довольно маленькая и пригожая картина, которую время за две сотни лет обработало по-своему (зимой – с помощью мороза, а летом – с помощью мух) с тем результатом, что все краски на ней приобрели такой оттенок, о котором сам художник и мечтать не мог. Картина изображала воскресение: Христос шагнул из могилы, подняв руку вверх, наполовину сбросив саван пурпурного цвета, и излучал одновременно силу и привлекательность. Сия добрая сцена происходила во дворе дома в некой голландской местности в начале семнадца-

того века, и на заднем плане выстроились все обитатели, а также их соседи: лица сияли от восхищения и пламенной веры, простонародье неуютно чувствовало себя в присутствии звезды мирового уровня.

Из сопоставления этого живописного полотна и совершенно неживописной сцены под ним можно было вычитать историю христианства. Что и делали собравшиеся, коротая время, пока пастор спал.

Сейчас пастор поудобнее улегся в своем закутке и хрюкнул, так что всем невольно пришел на ум уже не тюлень, а плечистый черный боров в слишком тесном загоне. Послышался шепот норвежцев: *“Nej, men fan”*<sup>27</sup>. Лауси ухмыльнулся до ушей, а затем посмотрел на Эйлива, стоявшего у края органа. Скорбящий вдовец явно скрылся в метель своих дум, его голова была полна черным снегом, который неся большими тучами.

А малыш Гест незаметно для всех вдруг подошел к алтарю. Перебирая руками перила, он добрался до гробов своих матери и сестры, а затем и дальше, за угол ограды, и наконец до самой всклокоченной головы Йоуна. Тут он протянул руку в «клетку», где лежал пастор, и ущипнул освященное ухо, сказав при этом:

– Пáтой пóмей!

От этого преподобный Йоун очнулся от пьяного забытья и, постанывая, с трудом встал.

– Пáтой не пóмей! – вскричал тут Гест Эйливссон, и тотчас его забрала от гробов его нянька. – Гетт в́йлесиль пáтойя!

– А на третий день он воскрес, – раздался с одной скамьи мужской бас, неизвестно кому принадлежавший. Работники принялись посмеиваться.

Тут началась рождественская служба. Она прошла в целом без приключений: сон пошел пастору на пользу. Ему даже удалось с большим искусством перейти от благой вести праздника к темной юдоли, относящейся к каждому похоронам. Но когда дошло до надгробной проповеди, положение стало сложным, потому что для этого священнослужителю нужно было подняться на кафедру, а она была тесная и в самом прямом значении этого слова хитровыгнутая, – эта кафедра была художеством великого словосплетателя Лауси. На второй ступеньке преподобный Йоун наступил себе на ряску и чуть не грохнулся навзничь на лестницу. При этом он скрылся от взоров паствы, но сидящим на первом ряду слева все же была чуть видна возня, больше всего напоминающая биение орлана в черном мешке. Но вскоре мешок пропал из виду, и послышалось, как пастор пробирается вверх по ступенькам, а затем – опять тишина. Снова заснул? Нет, очевидно, всего-навсего забрел в незнакомый бар в этом круглом мире винтовой лестницы, потому что оттуда раздалась звуки глотков. Когда они закончились, вновь послышалась возня, а затем пастор восстал из церковной кафедры, словно герой саги из бочонка со скиром<sup>28</sup>, вооруженный растрепанной Библией, и сейчас выглядел гораздо бодрее, чем прежде.

Преподобный шумно сглотнул и кивнул головой Всевышнему. Но когда он вознамерился водрузить слово Божие на пюпитр, его угораздило уронить книгу с кафедры. Она шлепнулась на колени одному из норвежцев, который тотчас встал и подал Библию обратно на кафедру, почтительно, спокойно, в своем норвежском воскресном свитере, как раз с такими светлыми волосами и такой густой шевелюрой, от которых бежали в свое время первые жители Исландии.

Преподобный Йоун смиренно взял слово Божие и начал листать в поисках надгробных проповедей, которые составил накануне в трезвом виде и перед тем, как отправиться в церковь, засунул под золотой переплет. Но этого листка больше не было внутри Библии: куда-то он, окаянный, улетел, когда книга упала. Пастор свесился с кафедры и нагнул свою большую голову, так что его вьющиеся волосы совершенно неторжественным образом откинулись на

---

<sup>27</sup> «Нет, что за черт» (норв.).

<sup>28</sup> Аллюзия на начало «Саги о Гисли», в котором отец заглавного героя, находясь в доме, подожженном его недругами, укрывается от огня в бочонке с кисломолочным продуктом.

лоб, и стал глазами искать белое пятно – бумажку на покрытом слякотью полу или же на серых, как шерсть, коленях, – «ух ты, какие у этой варежки красивые; а это часом не Кристбьёрг из Лощины?» Но все впустую. Голова опустилась еще ниже, обнаружив редковолосую макушку; так эта голова и свисала с пюпитра некоторое время, пока пастор не сделал некий внутренний рывок и не втащил самого себя обратно, поднялся, открыл глаза и с прекомичным выражением лица выпрямился, – а кровь в это время отхлынула от сосудов головы, и его лицо покрыла сероватая бледность.

За сим последовала тишина, расцвеченная покашливаниями.

«У-хम्म. Да, а где бумаженция? Здесь ее нет. Нигде здесь нет. Я, что ли, забыл ее засунуть в библиенцию? И она лежит дома на столении, на столе столе столе?» Сейчас пастор шурился на прихожан, надеясь: а вдруг в густом, как шерсть, хмельном тумане что-нибудь промелькнет, хотя бы имена усопших.

– И даже если пойду я сквозь темный дол, я не буду страшиться... – начал он, чтоб хотя бы не молчать, дрожащим голосом, с трясущимися волосами, но тут сообразил и сменил тон. – Ну нет... Сегодня мы собрались здесь не только в связи с рождественским праздником, сочельником, простите, новым годом... но и...

И тотчас пастора поправил подрагивающий головой пророк из первого ряда:

– Сегодня тридцать первое! – возвестил Сакариас голосом, напоминающим ягнячье блеянье, но к этому его присловью все уже давно привыкли. У него была своя теория: что давным-давно из календаря этого хреппа выпал один день: не пришел во фьорд, а заблудился в горах и умер там, где умирают лишь дни. Так что на самом деле сегодня не первый день нового года, а последний день старого. В доказательство этого Сакариас демонстрировал искусные расчеты и выкладки и совершенно непостижимо размахивал циркулем в бадстове Старого хутора, ссылаясь на «тех отца с сыном», Пи и Пифагора, но главное доказательство пропажи одного дня все же имело место каждый год в ночь летнего солнцестояния, когда он в полночь измерял расстояние от самого западного оконного переплета до солнца, раскаленным шаром лежавшего на горизонте в северном окошке в крыше бадстовы, и из этого круглого оконца, опущенного по краям травой, открывался вид на закат в устье фьорда.

– Не, гля-ка. Оно в тридцати четырех сантиметрах от рамы, а по правде должно было быть в тридцати пяти!

Оттого в представлении сего нумеролога завтрашний день не существовал, вчерашний тоже, а текущий момент – тем более. Потому что день, каждый раз встававший за окном, на самом деле был завтрашним днем еще не прожитого вчерашнего. От этого Сакариас постоянно испытывал душевные муки и желал исправить календарь; он уже давно написал властям длинное письмо.

А наш оратор, напротив, настолько привык к этим поправкам пророка, что не услышал его возгласа, а продолжил свою пьяную болтовню с кафедры:

– ... но... но также здесь мы хором... хороним Гвюд... Гвюдрун Оусвальдсдоттир из Перстовой хижины и ее дочь Бауру, то есть я хочу сказать Лауру Эйливсдоттир, возрастом дитятю.

По-настоящему покойницу звали Гвюдни Роусантсдоттир, тут наш оратор почти угадал, но дальше пошли уже сплошные домыслы.

– Гвюдрун родилась в тысяча восемьсот сорок... да. Родилась в том славном месте, где... короче, где жили ее родители. И приехала в наш фьорд... – тут пастор поднял глаза и спросил паству. – Она ведь в Лощину приехала? Да, и приехала в Лощину. Совершенно верно. Красивая девушка. Весьма хорошо сложена...

Здесь воцарилось молчание, слишком красноречиво свидетельствуя о том, что этот увлажненный хмелем человек сейчас отдался на волю дум, еще более влажных, – но затем

он подобрал нить и вспомнил ребенка, сейчас лежавшего в меньшем гробу, уделив ему пару механических фраз, настолько холодных, что душу скорбящего отца бросило в озноб.

Постепенно эти до дрожи затянувшиеся похороны подошли к концу, и пастор поздравил слушателей с новым годом, а заодно и с Рождеством, бросая в могилу комья земли. Затем собравшиеся спели псалом «Цветку подобно...»<sup>29</sup>, без аккомпанемента, в то время, когда самые крепкие в хреппе работники выносили гробы. Первым за ними выскочил Эйлив; в двух руках он подхватил своего сына, когда тот подбежал к папе. И тут хуторянин ощутил, что к нему протягиваются длинные желтые помочи с небес: матерчатые, тонкой работы, посланные теми веселыми херувимами, которые обретались в небесной державе на самом нижнем ярусе, – этот день все же не был лишен благословения. Он поднял взор и посмотрел над горами: там они и сидели, пухленькие, толстощекие, улыбались и махали, словно старому знакомцу, а он с ними был незнаком и видел их впервые. Желтые тягучие ленты пропали, едва достигнув его сознания.

Им пришлось долго ждать во дворе одним, перед черными гробами, вместе с похоронщиками, Лауси и насторожившимся помощником пастора, потому что народ не мог выйти из церкви, пока вперед не продвинулись пророки, ходившие весьма медленно. Лауси потратил это время на то, чтоб завершить в уме свое четверостишие:

К северу от солнца, от оконца,  
и на северах от Рождества,  
я засну, избавлен от суда и от труда,  
и от мира, и от божества.

И вдруг вокруг них начал крепчать ветер, и людей, протискивающихся из церкви на выход, охватило беспокойство. Порывы трепали юбки, взметали бороды – наверно, сейчас лучше отправиться домой, чтоб успеть до темноты – а в первый день нового года дневной свет в этом фьорде выключали ровно в 15:03.

– На ужин каша! – послышался крик Сакариаса, повлекшегося восвояси на хутор. За ним следовали Йоунас и Йеремиас, такие же скорбные ногами ковыляльщики. Кристмюнд из Лощины в шутку спросил, не желают ли они проводить мать с дочерью в могилу, и Йеремиас слегка обернулся и проговорил со своими тремя зубами во рту:

– Ай, она же нас проглотит!

И тут пророки, все вместе, ускорили свой медленный шаг, преуморительным образом спеша подальше от разверстой могилы, словно дети, убегающие от воображаемой угрозы.

А большинство все-таки побрело к месту последнего упокоения, и пастору, когда он наконец появился, пришлось протискиваться сквозь толпу; он густо и мохнато носопыхал, а веки у него были тяжелые. Гробы водворили в могилу, меньший – первым, чему Эйлив удивился, но, оказалось, это произошло по той простой причине, что он стоял ближе к могиле, ведь Лауру выносили из церкви первой, так как ее гроб стоял наверху. Потом на него опустили более длинный гроб. На то, чтоб вырыть две могилы или сделать эту двухместной, времени не хватило. Могила у матери с дочерью оказалась тесной, ее едва хватало на такое двухэтажное сооружение: до крышки верхнего гроба всего полсажени. И все же вдовец считал чудом, что эти две его родные души вообще удалось пристроить в землю, учитывая, насколько она вчера вечером была заморожена.

Затем началось пение, а Гест скидывал своей матери снежки, – но вот преподобный Йоун начал церемонию прощания. Он протиснулся туда, где стояли отец с сыном, а затем простер руку над открытой могилой, шатаясь из стороны в сторону, и приготовился благословлять во

---

<sup>29</sup> Псалом авторства Хатлыгрима Пьетюрссона, который в Исландии обычно исполняется на похоронах.

имя отца, сына и святого духа, но вытянул руку слишком далеко вперед и начал терять равновесие, стал хвататься за воздух на краю могилы, чтоб удержаться за него при падении. Стоящие рядом тотчас принялись протягивать ему руки помощи, но прежде чем они успели спасти своего пастора от падения, из плотной толпы высунулась жилистая рука и быстро ткнула преподобного Йоуна в спину, от чего он рухнул в могилу и плюхнулся на живот прямо на гроб Гвюдни, да так, что тот хрустнул.

Эйлив бессильно наблюдал, как служитель церкви лежит на его жене: хотя она была в гробу, а пастор явно без сознания, это зрелище было не лишено двусмысленности.

У всех присутствующих от ужаса перехватило дыхание, однако никто не понял, что же здесь произошло, никто не заметил руку, толкнувшую пастора, и не знал, кому она принадлежала, – никто, кроме маленького Геста Эйливссона. Он видел, что случилось – он смотрел на это снизу, из тесной от курток середины толпы, и видел четко. Так его память сделала свою первую зарисовку.

## Глава 13

### Мадама

Она выглянула в окно. Белый как лед дневной свет играл на сетчатых морщинах ее лица. Вот и еще один новый год начался – да такой светлый; а что там на кладбище за переполох? У них с погребением что-нибудь не заладилось? Она слишком плохо видела, чтоб понять, что происходит, но снова посмотрела на гору и в очередной раз спросила себя, каково ей в этом фьорде. Это был ее сорок первый новый год. Она приехала с юга страны – сорокалетняя жена пастора, который владычествовал здесь до преподобного Йоуна, и он, от большой любви и мук проспиритованной совести, два десятка лет назад выстроил для нее это жилище, до сих пор остававшееся единственным солидным жилым домом в Сегюльфьорде; все остальные были землянками, за исключением дома торгового управляющего Сигюрда, стоявшего на Косе чуть ближе к берегу, довольно сносного деревянного одноэтажного сарая. А чуть к востоку от него располагалась и сама лавка в помещении склада с дырявой крышей.

Звали ее Сигюрлэйг: она была пригожей, правда, нос несколько крупноват; рот у нее был очерчен на диво четко, а губы она часто смачивала, облизывая языком, так что они всегда блестели, как два бело-розовых червяка на пересохшей морщинистой почве – ее лице. Тело у нее было маленькое, руки маленькие, а все же от этих тоненьких побегов произросли одиннадцать больших семей, заполнивших одиннадцать хуторов по всей стране. Каждый месяц она получала письма, в которых сообщалось о погоде, скотине и рождении внуков (именно в таком порядке), с востока, юга и запада страны. Ей неоднократно предлагали уехать жить к внукам, но она все время отказывалась: ей хотелось быть именно здесь, в своем Мадаминоме доме, хотя пасторы здесь порой вели себя буйно.

Исландские пасторши назывались мадамами, это слово сулило почет и деликатное обращение. Для женщин выйти замуж за пастора было единственным способом избежать вечных хлопот по хозяйству, так как пасторские усадьбы располагались на лучших в стране земельных угодьях, там было самое сносное жилье и лучшие батраки. Даже если муж оказывался беспробудным пропойцей, жребий пасторши все же был гораздо лучше многих других. Поэтому пасторши заставляли себя смириться со множеством неприятных вещей и обладали большим запасом терпения. А когда они становились вдовами (а вдовели они все, так как все без исключения пасторы допивались до смерти), то могли припеваючи жить на деньги, которые посылал им фонд пасторских вдов.

Мадамин дом был выстроен из хорошей норвежской древесины: один этаж и чердак, а подвал каменный, у западной стены крыльцо, а со всех четырех сторон – окна со стеклами. Рукоположенный супруг Сигюрлэйг хотел воздвигнуть ей подходящее жилище и гордо ввести ее в другой мир, на дощатые полы, вверх по лестнице... И это была лестница в небо. Подумать только: она вышла из грязи, земли, мокрети, мытарств и маеты! И поднялась высоко – на второй этаж! В первые дни на лестнице постоянно толпились работники и даже их знакомые с Сугробной реки, да и из Лощины тоже. Новую церковь еще не построили, и люди прежде не поднимались наверх таким способом. Когда экономка впервые взошла на верхнюю площадку лестницы и посмотрела вниз, у нее так сильно закружилась голова, что она едва не свалилась со ступенек.

С той поры мадам Сигюрлэйг редко покидала свой прекрасный мир. Даже в церковь на службу она не выходила. Среди молодых поколений жителей фьорда мало кто видел пасторшу собственными глазами, этим не могли похвастаться даже те, кому посчастливилось на минутку присесть в Мадаминоме доме. Когда у преподобного Йоуна случались рюмочные дни в гостиной, старая дама обреталась на верхнем этаже, сидела там за вышиванием или читала датскую



книгу. В сознании своих односельчан она была возвышенным существом, живущим на высоком этаже, некая помесь бродящего выходца из могилы с восседающей на троне королевой.

Ее собственный преподобный супруг умер всего через несколько лет после постройки дома – и его сразил Бухус, вихрастый бог, выбивший его из седла посреди Перстовой реки. Она умеренно скорбела по нему, а потом радовалась, что у нее поселились новые люди, новый пастор со своей тихоней женой – а значит, с ними в этот дом вошли и экономка, и работники, и обеды, и обслуживание, в этом доме рабочие руки были нужны, одна вдовья пенсия много прокорма не давала. И преподобный Йоун с его женой Гвюдлёйг были замечательными людьми. Зато он внезапно принялся пьянствовать даже сильнее, чем ее покойный супруг, и ей все так же приходилось не спать ночами; тогда она, лежа в постели, пересчитывала потомков. Преподобный Йоун был более шумным, чем ее муж. Это огромное тело с копной волос имело специфическую потребность орать так, что чертям тошно, колотить в двери и петь среди ночи тоскливые песни про любовь к бутылке и горам.

Сейчас она осторожно спускалась по лестнице – мадам Сигюрлёйг, субтильная, изящно одетая, как всегда; седые волосы выбивались из-под черного берета с черной кисточкой. Сейчас она шагнула вниз по ступенькам в еще один год, – женщина, родившаяся не когда-нибудь, а в день коронации самого императора Франции, Наполеона Великого. Почти в тот же миг, когда он преклонил колени на шелковую подушку у алтаря в Нотр-Дам в Париже перед папой Пием Седьмым, чтоб принять от него корону на свою голову, в мире раздался тоненький крик в некоем деревянном алькове в исландских хреппах, скупо освещенном декабрьским днем. А сейчас она спускалась по ступенькам во всю эту историю, спускалась в свою маленькую жизнь – бескоронная императрица с севера, женщина, прожившая большую часть жизни; она ставила свои облаченные в кожу мягковолочные подошвы на деревянные ступеньки, и они глухо поскрипывали, и их скрип был таким же четким, как выражение ее рта, но чем ниже, тем тяжелее становился этот звук, и вот наконец она высоким гостем сошла в разливанное море тиканья, заполнявшего нижний этаж, словно гость из вечности – в будничность, где часы без усталости взбивают мгновения билами, чтоб их всегда было в избытке.

В последний раз она спускалась вниз несколько дней назад; очевидно, сейчас она что-то почувствовала, потому что в следующий миг входная дверь распахнулась, и в прихожую напротив лестницы ввалились три запыхавшиеся женщины. Пасторша узнала свою экономку Раннвейг, а еще Кристбьёрг из Лощины и супругу ныне царствующего пастора, Гвюдлёйг, жену Йоуна – последнюю вели под руки две остальные, словно бледную пожилую куклу, и они сильно суетились, их пальто и юбки – и те, казалось, обрели дар речи и то и дело повторяли «Господи Иисус!» и «Боже, оборони!»

Не успели женщины войти, как девчонка-работница Сигрид, которую называли не иначе, как Краснушка, потому что ее щеки все время были ярко-алыми, колоритная девка со вздернутым носом, ворвалась вслед за ними, задыхаясь от бега, и объявила:

– Его кто-то толкнул, кажется, я видела!

Три перепуганные женщины, толпящиеся в прихожей, повернулись к ней, и хотя в их взорах читалась растерянность, им удалось добавить в них удивления и гневного огня: «Не может быть! Кто так поступает? Господи ты, боже мой! Кто толкнул пастора, да еще проводящего погребение, в открытую могилу?!»

– Кажется, я видела, – повторила девчонка, а затем закрыла входную дверь.

Эту новость было трудно переварить, особенно в придачу ко всем другим. Никто больше ничего не сказал, все повернулись к старой мадам, спустившейся по лестнице. А здесь объяснения были, по большому счету, не нужны. Она стояла перед этой более юной версией самой себя и видела, что говорят ее глаза: «Кто хоронил, теперь сам похоронен. Преподобный Йоун – все...» И хотя маленькая пасторша была потрясена, а старая – ошеломлена, молчание между

ними было таким, что его можно было резать ножом, а из отрезанных кусочков выковыривать проблески облегчения.

Женщины сняли пальто, а потом принялись разыгрывать на деревянном этаже, в гостиных, в коридоре и на кухне ту пьесу, которую полагается играть, когда умирает супруг и хозяин дома. Четыре женщины по очереди садились рядом с пятой, чтоб немножко поплакать вместе с ней, сделать ей кофе, принести хлеб и масло, а потом ходить то в комнату, то из комнаты с шумом вздохов и юбок, чтоб в воздухе трепетали косы и расспросы. Они изо всех сил старались сотворить из всего этого печаль в доме, да только светлынь на улице, новогодняя белизна, отказывалась в этом участвовать. Ведь хотя стрелка часов начала клониться к трем, темнота все еще не наступала. Как будто весь фьорд радовался смерти пастора. Но пять женщин упорно продолжали играть свою пьесу, пытались разжечь в себе скорбь, приличествующую моменту, когда в хреппе преставился начальник, – но эта наигранная постановка постепенно переросла в довольно незамысловатый допрос алощекой девицы Краснушки. Что она видела? Кто его толкнул? Его точно кто-то толкнул? Но у нее на все был только один ответ: кажется, она видела, будто кто-то подошел к нему сзади и толкнул в спину, и в итоге этот громадный человек свалился ничком в могилу.

Две мадамы сидели друг напротив друга, кажется, они уже не слушали, словно это было не важно, и снова заглядывали друг другу в глаза. И вновь из молчания между ними можно было вычитать вот что: «Теперь нам наконец дадут поспать, мы спокойно выспимся!»

## Глава 14

### В одной связке

Вот и миновал Новый год со старым снегом и старым льдом, и почти ничего не произошло. Эйлива и Геста взяли жить на хутор «До следующего обвала», потому что в Перстовом им житья не было, потому что там раздавалось слишком уж много проклятий в адрес матери и дочери, даром что тех уже не было в живых. Эйлив дважды застукивал перстовских супругов, Стейнгрима и Эльсабет, в их кухне у очага за обсуждением отца и сына и слышал там слова «дите сопливое», «тролль бадейный» и «не человек – прорва». Ведь Эйлива не хотели никуда брать, хотя он не знал устали в любой работе: он был осужден за воровство, слишком много ел, да еще долговязый, а ведь эти его ходули не отстегнешь. И вообще, откуда мы знаем – может, он свою жену сам убил, а пастора-то наверняка он в могилу столкнул! Вот она – вершина его бедняцкой удачи! Просто никто об этом не говорит вслух, слишком уж велик этот грех – убить священника!

Оттого-то Лауси и пригласил его жить к себе, ведь они долгое время были братьями: младший и старший, мысль и лопата, и хотя для такого человека тамошнее жилье было тесновато и низковато, он мог и умел работать, а за мальчика полагались кое-какие выплаты от хреппа<sup>30</sup>. Хутор Обвал сам был похож на старую лавину, остановленную тонкой переборкой фасада, а сам этот фасад низко наклонился вперед и едва сдерживал оползень. Казалось, дом готов в любой момент весь целиком сорваться и покатиться вниз по склону. Внутреннее убранство все носило отпечаток какой-то поломанности. Здесь действовал вечный закон: в доме сапожника целых сапог не найдешь.

На этом хуторе размещалось пять душ: фермер Сигюрлаус, Сайбьёрг, его жена, и Грандвёр, ее мать, молчаливая как камень женщина с дальнего мыса, а также дочь супругов, придурковатая девочка-переросток по имени Сньоулёйг, называемая Сньоулька; она всегда беззлбно ворчала, а ее лицо застыло в извечной гримасе, обнажавшей большие, совсем телячьи, передние зубы. Они были желтыми, неухоженными – а все же казались всем гостям главными сокровищами этого хутора. Также здесь обретался работник Йоунас, видом как собака, а на щеках – редколесье. Как выражался Лауси, «у него вместо бороды кошачьи усы выросли». Но хотя хозяин этого хутора и был весельчаком, на самом хуторе все носило печать брэнности и многое было устроено на особый лад. Мальчик явно скучал по жизни в Перстовом, где за обедом в гостиной собиралось по пятнадцать человек, а к ним в придачу три собаки и одна кошка, и, несмотря на строгость хозяйки, в том домике было весело. А здесь детей не было, да и четвероногих товарищей для игр тоже, разве что мышка под кроватью. Даже собаки здесь не было, и не было коровы Хельги: его добрую жизнеподательницу до весны решили держать у Стейнгрима. И здесь никто не разговаривал – кроме Лауси, но он всегда думал о чем-то своем, что-то записывал или плел какие-то словеса. В его сундуке лежала целая куча книг, но даже Эйливу оказалось трудно понять то, что хозяин читал по вечерам: «Приветствую царство / черного чада! / Прими, преисподняя, / владыку нового – / меня!» А заглавие было как будто нарочно создано для Эйлива и его великого верстания с судьбой: «Потерянный рай по-исландски». Долговязый чувствовал себя здесь почти сиротой: несвободным, нелюбимым, – но какой выбор был у него сейчас, когда его жизнь со всех сторон затирали морские льды?

---

<sup>30</sup> В сельской Исландии минувших веков осиротевший ребенок обычно помещался на какой-нибудь хутор, и местная сельская община платила хозяевам этого хутора за его содержание; при выборе хутора предпочтение отдавалось тем хозяевам, которые соглашались приютить сироту за наиболее скромную сумму (часто выбор по этому критерию происходил в ущерб всем другим необходимым условиям жизни). Находиться на иждивении сельской общины считалось позором.

Хутор Нижний Обвал не просто так прозвали «До следующего обвала». На него и на хутор Верхний Обвал, находившийся двумя покосами дальше вглубь долины, веками обрушивались бесконечные сели, оползни, камнепады, обвалы, но в основном снежные лавины, и люди на них жили в постоянном страхе перед следующей лавиной, а лавины все шли из Вредоносной впадины, огромного снегосборника под Столбовой вершиной, самой высокой горой в этом фьорде.

С тех пор как остроумец Лауси обосновался в этом месте, он ввел такое правило, что в самое опасное время года домочадцы должны были ложиться спать, связавшись одной веревкой. Хозяин накидывал вокруг своей талии петлю, потом веревка продевалась сквозь ручку его сундука с книгами, затем тянулась к кровати напротив, где петля завязывалась вокруг хозяйки, затем свекрови, потом дочери и, наконец, работника. Если случится обвал, их всех будет легко отыскать. Эти осязаемые семейные узы, весьма прочные (так называемая манильская веревка рыжеватого оттенка, из лавки Коппа), завязывались вокруг каждого туловища морским узлом, так что никого не сдавливали. А сейчас веревку предстояло удлинить для новых членов семьи, но Эйлив отказался: *привязываться* к этим людям ему не хотелось. «Нет, Лауси, жить вот так вот я не хочу. А мальчика бери». – И Гест оказался с домочадцами в одной связке.

Эйлив ухаживал за овцами в хлеву, который был еще меньше, чем когда-то его собственный, так что ему казалось, что баранешки здесь карликовой породы, и он поил их мышинными порциями. Также он выходил на весельной лодке добывать рыбу вместе с этим лисом Йоунасом, когда льды стали отступать, и не возражал, когда ему велели вязать вместе со всеми по вечерам под чтение стихов в древнепесенном размере. Но его подавленность никуда не уходила. Ночь за ночью ему все снилось, что его жена на том свете с кем-то спуталась.

Но гораздо больше его угнетало происшествие на похоронах, тот факт, что в придачу ко всему пастор «доклюкался» и помер. Он снова и снова видел перед собой мертвенно-бледное и перепачканное лицо преподобного Йоуна, когда того перевернули, эту величественную, все еще пьяную в лоск физиономию, хотя, вроде бы, хмель уже должен был слететь с пастора, ведь в этот самый миг его уже вводили в палаты самого князя тьмы. (Об этом обстоятельстве они – Эйлив, Лауси и работник Йоунас – спорили весь месяц торри<sup>31</sup>, и обладатель кошачьих усов считал, что кто помер пьяным, тот будет пьян и в вечности. А о том, в какое место пастор Йоун отправился после смерти, и спорить нечего.) И он снова ощущал тяжесть пасторского тела, каменную тяжесть этого каменного тела, снова и снова чувствовал, как же обидно, что его приходится вынимать из могилы при помощи его же собственных работников. Следы этих трудов ему так и не удалось смыть. Пастор неопишутым образом нагадил ему, испустив дух в могиле его жены и дочери. Что это за пастор, черт его раздери, который во время погребения помирать удумал! Громила окаянный! И теперь эта пакость навек замарала память о Гвюдни и Лауре. Если жена и дочь просто погибли – это одно, а если их еще и пастором придавило – это совсем другое.

<sup>31</sup> В старинном исландском календаре – четвертый месяц зимы, длящийся с конца января до середины февраля, самый суровый зимний месяц.

## Глава 15

### Mr. Eternal

И вот в один прекрасный день из-за угла фьорда показался пассажирский корабль «Тира», державший путь на запад, за Рог, и сделал там вежливую остановку. Это было в последний день марта месяца, небо было серым, но высоким, летали вóроны, лед, сползший со всех склонов, щетинился жухлой травой и оголенными камнями, а горные вершины были белоснежны, и море тонко подрагивало как живое.

Приятели Эйлив и Йоунас возвращались с ловли, добыв рыбы столько, что она едва закрыла дно лодки. И тут им закричали и замахали с оконечности Косы. Это могло означать только одно, и они на мгновение задумались, не отвезти ли им сначала улов домой, потому что сейчас в лодке наверняка появятся пассажиры, но Йоунас и слышать не хотел о такой ерунде, так что они развернулись и принялись грести навстречу кораблю. В этом фьорде, конечно же, не было ни причала, ни пирса для крупных судов, а сами эти господа, плавающие вдоль побережья Исландии, лодку без крайней нужды не спускали: корабль должен был укладываться в расписание. Поэтому существовало неписаное правило: если рядом плавала какая-нибудь посуда, она должна была подойти к борту корабля и перевезти пассажиров и груз на берег.

Вот как вышло, что на скамье напротив Эйлива в лодке оказался словоохотливый южанин, чистюля в перчатках, в зарубежных обутках, таких роскошных, что ему пришлось сидеть как девочке: на помосте, подобрав обе ноги на скамью, и от его безбородого лица непрерывно струилась речь, а порой он косился на кучу пойманной рыбы под собой, и выражение лица у него становилось как у человека, вдруг обнаружившего, насколько же в действительности отвратительна основа жизни этого замученного народа. Эйливу это не понравилось – и тут он увидел, как «Тира» на всех парусах покидает фьорд. Ну и как этот человек, такой чистоплюй, собирается жить здесь, среди рыбьей слизи?

– Ты можешь продать свою корову. За корову пока еще много чего можно купить. А еще я могу тебе сильно сбавить, потому что ты – первый, с кем я разговариваю в этом фьорде, а записалось к нам мало народу. Единственное, что тебе нужно будет сделать, Эйлив... ведь тебя Эйлив зовут, так? Эйлив – пишется без ипсилона? Да. Тебе надо будет заранее быть в Фагюрэйри, корабль отчаливает третьего мая. Что ты говоришь, у тебя сын? Ему два года? Тогда мы за него платы не возьмем, просто запишем его как собаку, некоторые берут с собой собак, хотя собакам во Мери́ке на берег нельзя. В нью-йоркском порту стоит целый корабль с собаками, и они по ночам воют и зовут старый мир. Ну, господин хороший, прощай. Во Мери́ке для таких больших и сильных, как ты, возможностей полно, у тебя там с самого первого дня была бы работа и зарплата! Тебе бы банкнотами платили! И в лавку ты мог бы ходить без кредита, просто платил бы за сам товар, за soap, shoes или там jacket, а потом сходил бы в «Фотографию» и снялся на карточку! Mister Eternal Gudmundsson!

Ну и болтун! Эйлив до смерти обрадовался, когда выгрузил этого кота в сапогах на приливной полосе, не доезжая Мадамина дома, вместе с посылками двум пасторшам, которые сейчас, в своем вдовстве, сидели там, раскачиваясь взад-вперед. А забирала ящики с посылками помощница экономки, Краснушка, девчушка с алыми щеками и вздернутым носом, которая в придачу приняла от наших гребцов связку сайды. Она ошарашила Эйлива, одарив его теплым взглядом в тот момент, когда забирала рыбу. Она с ним заигрывала? Эта девчонка сопливая? Либо так, – либо она была уверена, что пастора, ее хозяина, убил именно он, и была ему настолько благодарна. Неумолкающий южанин, весьма величаво соскочивший с носа лодки на берег, почти не замочив ног, отпрянул, когда помощница экономки прошагала мимо него на берег, помахивая рыбой.

– Благодарю за труды, – крикнул он Эйливу на прощание. – Приходите в воскресенье в church, я там буду анонсировать переезды во Мерику и записывать желающих! *The Promised Land is not only a promise!*<sup>32</sup>

Английского языка Эйлив не понимал, а вот эту запальчивость понял хорошо. И конечно, он слышал об Америке; в Лощине батраки с батрачками семь лет назад как-то собрались, а на следующее Рождество они уже оказались запечатлены на скрижалях истории в фотоателье в Манитобе, разодетые не хуже самого Коппа. Подумать только: этот негодник Кристьяун и эта бабенка Марффрид с мельницы стали совсем как чистая публика... Узы батрачества до самой Америки не дотягивались.

Он взялся за весла с таким рвением, что даже костяшки побелели под весенними варежками, а сам смотрел, как американский агент забегает в Мадамин дом с такими кошачьими повадками, словно плут-затейник из английского романа, которого ему как-то раз описал Лауси. Впрочем, агент и впрямь был исторической личностью, ведь за тысячу лет ни один купец не явился сюда, чтоб избавить людей от оков этого фьорда, – хотя, может, это только штучки, какие в ходу у торговцев, один мухлеж и надувательство? Тот человек никогда не видал рыбьего плавника, а к тому же выказал беспримерную хитрость:

– Ты же это сделаешь ради меня, да, Эйлив? Чтобы это все окупилось, мне нужно по меньшей мере по десять человек из каждого здешнего фьорда.

Они легко неслись через фьорд: человек, весло и морская вода – единственная и настоящая троика, – а Эйлив думал о своей жизни и своем положении. Вот он сидит тут в открытой лодке – сорокасемилетний исландец, и все части тела у него в целости, а вот репутация подмочена, – хотя кто бы не стащил кусок еды в открытом сарае для сушки рыбы после того, как ему отказали в ночлеге на третий вечер большого бурана, а перед этим он два дня шел, и у него маковой росинки во рту не было? Один лишь случай – вполне закономерный страх голода зимой 1878 года – и все моменты его жизни попали под осуждение. Чтоб окрасить всю бадью, оказалось достаточно одной ягодки.

Он смерил взглядом затылок работника Йоунаса, сидевшего на скамье возле отсека для рыбы, – тощего, синюшного – а грести-то этот мужичонка вполне может, этого уж не отнять. Но ему агент даже слова не сказал, он обращал свои тирады исключительно к Эйливу. Может, он смекнул, что за сокол сидит тут на веслах – тенелюбивый, жухлобородый, для всех неудобный, а в первую очередь для самого себя. На прошлой неделе Эйлив набрел на работника на взморье, где тот засовывал свой прибор в Сньоульку, и его сугробно-белые ягодицы сверкали среди черноты камней. С такого расстояния было трудно определить, что выражает натужная гримаса, навек прилипшая к лицу девушки: наслаждение или принуждение. По старым порядкам и за одно, и за другое полагалось бы двадцать семь ударов розгами. Но Эйлив отвернулся: ему не хотелось, чтоб власти исхлестали эти белоснежные ягодицы в кровь. Что это за жизнь, когда своим струментом пользоваться запрещено? Да и где на белом свете нашелся бы такой исусик, способный выдержать целый век без женщин? Сам Эйлив в свои винные годы лакомился не только холодной дельфинятиной, может, у него где-нибудь в Эйрарфьорде уже ребенок подрос, – но сам бы он ни за что не позволил себе взгромоздиться на дурочку.

Нет-нет. Но каждый выбирает, что ему подходит.

Его взгляд обратился в сторону Перстового хутора, там перед домом обозначалось какое-то движение, – и его душу заполнили смешанные цвета. Эльсабет – женщина жестокосердая, зато Стейнгрим дал ему в жизни возможность, продал небольшой участок, где поставить землянку, а Гвюдни дала ему самую жизнь, – которая сейчас отлетела. А сам он после этой смерти был жив. У него все еще была жизнь: и собственная, и сына. Ему оставался еще по меньшей мере десяток лет, если не два, а это не так уж плохо, как говорится, жить можно, а у маленького

<sup>32</sup> – Земля обетованная – не просто обещание! (англ.)

Геста все еще было впереди, – и разве он не обязан дать собственному сыну участь лучшую, чем участь бедняка-иждивенца, принимающего подачки от хреппа – ягненка-выкормыша в этой лачуге с наклонным полом, – тем более что жизнь его матери и сестры он уже сгубил ради трех килограммов муки?! Разве мальчик не был достоин, чтоб Эйлив купил ему лучшую жизнь за одну корову – свое единственное имущество? Хотя корова принадлежала ему не полностью, он все еще был должен Стейнгриму один сосок из четырех, но тот вряд ли станет взыскивать этот долг: глаза фермера с Перстового блестили совсем не таким взглядом, хотя позади него виднелось суровое лицо хозяйки на пороге дома. Неужели он купит для них Мерику по цене коровы?

Он представил себе Хельгу, как она мычит в стойле в большом хлеву Перстового, скотинка родная. Разве его собственная судьба хоть чем-то отличалась от ее судьбы? Разве он не был так же привязан в загоне, то есть в этом фьорде, разве его так же все время не доили его хозяева, а сейчас его еще и унизили на похоронах его собственных жены и дочери и в итоге почти превратили в голытьбу? Строго говоря, для того, чтоб переехать в свой родной Хейдинсфьорд или в Америку, да куда угодно, ему требовалось разрешение и пастора, и главы хреппа; слава богу, хоть отбывать на тот свет ему еще не запретили. Он ничего не проигрывал – разве не так?

И тут он представил себе своего мальчика, эту круглолицую большеглазую резвость, эту кипучую жизненную силу. Внешне он был не так уж похож на отца. Гест был из породы круглых – а его отец вытянутый. Конечно, мальчик потом еще вытянется, как выкидной ножик, и все же было ясно видно, что эти руки не превратятся в лапищи, а эти ноги – в широкие ласты. Он был похож на покойницу мать, как и она, светловолосый, мягкощекий, а отцовские гены проявлялись в его поведении и привычке коротко хмыкать, прежде чем повести речь. Но откуда такой жар жизни в этом холодном фьорде – было ведомо лишь Создателю. Малец приветствовал своего отца радостным криком, когда вышеназванный отец заверзился в низенькую бадстову, неся в голове планы путешествий:

– Сньокка мине лбинчик даля!

Позади этого жизнерадостного огонька, каждый вечер озарявшего темную лачугу, сидели рядышком на кровати две женщины с дымящимися чашками, две исландки, молчаливые и усталые, сорокалетняя Сайбьёрг, дыбоволосая супруга Лауси, и ее мать, Грандвёр, тяжеловесная женщина, в душе у которой была целая гора. Мать и дочь были непохожими: одна – камень, другая – тростинка, но приобретали сходство друг с другом на той картине, где на их лбах сверкали отблески пламени от жирника. Чуть ближе стояла Сньоулёйг, женщина с телячьими зубами, и перечисляла Эйливу все блины, которые слопал Гест:

– Четы-вёты номерь он пыра-глатил цилико-хом!



## Глава 16

### Ночные картины

В бадстове кроватей было мало, и все короткие. Так что Эйлив спал один в так называемой гостевой горнице, выходявшей своим повалившимся вперед фасадом на двор, а его сын, Гест, лежал под боком у своего самого любимого человека на этом хуторе – сладкохрапящей Сньоулёйг. При этом мальчуган волновался за отца и решительно требовал, чтоб тот по ночам находился в одной связке с остальными хуторянами. «Папка, и ты пйивязись!» – настаивал он, и в конце концов верзила поддался уговорам. Лауси удлинит рыжую веревку, так что она протянулась из бадстовы в коридор, а оттуда в гостевую, прямо в кровать к Эйливу, который накинул антилавинную петлю вокруг пояса.

И вот, в этот вечер он лежал на своем ложе – а перед глазами у него само собой вставало слово «МЕРИКА», написанное на потолочной балке, и в этом великом слове ему слышались громкий скрежет и лязг железа, стук молотков, звон подков, пароходная сирена и ружейные выстрелы, полицейские свистки и фотоаппаратные вспышки. Затем в сознании проносились два железных вагона по новой *железной дороге*, о которой он когда-то слышал, и это тотчас наполнило его желанием устроиться на такую работу: строить *железнодорожное полотно* – для человека, знавшего лишь заснеженные дороги да овечьи тропы, это слово звучало по-волшебному. Дорога железная, блестяще-гладкая, прочная! Как приятно шагать по такой дороге! Тут он позволил себе вытянуться во весь рост, и тогда его босые ноги высунулись из-под одеяла и свесились далеко с изножья; и если бы он сейчас распрямил стопу, то его плюсна коснулась бы деревянно-холодного фасада дома: ему стоило только пнуть эту стенку как следует, и она бы рухнула прямо во двор. Лауси и впрямь был искусным стихоплетом, а вот собственный дом сколотил словно четверостишие: вся эта конструкция буквально держалась на паре созвучий.

И тут Эйливу предстала последняя картина, на которой он был в Сегюльфьорде: он лежал, растянувшись вдоль него, словно Гулливер, его голова покоилась на Дне Долины, сердце находилось близ Солнечного утеса, живот – между Лощиной и Угором, а зад накрывал Сугробную косу, причем колокольня была готова вонзиться между ягодиц, а ноги торчали из устья фьорда, стопы и пальцы возвышались среди моря, будто два гигантских айсберга.

Безбородый агент-американец пригласил его в воскресенье в церковь, где собирался рассказывать о переездах во Мерику, – но черт побери! – Эйлив не мог заставить себя снова приблизиться к этому зданию.

## Глава 17

### Двое на одном камне

Лауси от чтения книг приохотился к язычеству, в церковь его можно было затащить разве что силком, а ко всем богам он относился как к книжным героям. И рассказы о них были, конечно же, познавательны и во многих отношениях хороши, хотя Иисус Христос не шел ни в какое сравнение с Эгилем Скаллаgrimссоном в силу своей «слабооружности».

– Ну вот, значит. В саге о Христе отсутствует почти все, что украшает сагу об Эгиле. Разве что сцена распятия достигает своей цели, но она довольно затянутая, и в ней ни крови, ни ярости – ничего. И там автор упустил возможность: там Отец мог бы сочинить какую-нибудь «Утрату сына», или сын – какой-нибудь «Выкуп головы»<sup>33</sup>, – так нет же: все вырождается в какие-то мученические стоны, – и ведь затем преподобный Хатльgrim<sup>34</sup>, болезник наш, наплел по мотивам всего этого аж тыщу двести строк, самое длинное и скучное псалмоплетение, на которое только оказался способен наш брат-северянин, а народ все это проглотил из одной жалости к несчастному прокаженному поэту! А что до самой саги об Иисусе, то весь этот лепет о распятии ей как раз впору по стилю. Где царит всепрощение – там никакого драматизма нет, а где нет драматизма, там с лиходеями не ратоборствуют, там литература не зарождается, там ни побед, ни боли, ни башкоснесения! Вот... Подставить другую щеку – это, в сущности, всего лишь теоретизирование. Исключение! То, что проповедует Христос, – это же на самом деле уничтожение литературы, он никому не дает жить как поэту, он – великий истребитель сюжетов. Ему ногу отрубают, а он подставляет другую, руку оттяпывают у плеча, а он предлагает другую, сердце из груди вырезают, а он... да, тогда-то он что предлагает? Тогда он превращается в дым костра и в таком виде возносится на небеса! Даже баба, ну, Сигрид со Дна Долины, ни за что не позволила бы себе в свои рассказы напускать такой копоты. Фить-фить, и раз – в небо, и все! На том стою: Иисус Христос – величайший истребитель историй, – вот он кто! Истребитель!

Когда друг заводил свои лекции по литературе, Эйлива это утомляло больше всего – слушать его экспромты и остроумные ответы ему было гораздо веселее. И сейчас, когда они вдвоем сидели на одном камне чуть ниже хутора по склону, он пресек эту лавину, которую обрушил на него Лауси, заявив, что в следующее воскресенье собирается в Сугробную косу в церковь. Лицо Сигюрлауса приняло выражение, какое бывает у профессора, которого потревожили среди лекции, но все же он быстро сориентировался и торопливо проговорил:

– В церковь? А кто мессу служить будет? Пастора прислали?

– Нет, но приехал один человек...

– Человек?

– Да, и он будет анонсировать...

– Американский агент, что ли? Ты на американскую мессу собираешься. Вот это я понимаю, вот это вера: они рай обещают прямо на земле! Там, куда можно доплыть на корабле. Хотя непонятно, отчего церковники в свой собственный дом конкурентов впускают, или они позволяют этим проповедникам использовать церкви для оттягивания прихожан из приходов?

– Просто для меня здесь никакого будущего нет. Для меня с мальчиком.

– Ты его с собой возьмешь?

– Да. А ты хотел его оставить себе?

– Я больше всего хотел бы оставить вас обоих. Ты уверен, что...

---

<sup>33</sup> Отсылка к поэмам великого древнеисландского скальда Эгиля Скаллаgrimссона.

<sup>34</sup> Имеются в виду «Страстные псалмы» Хатльgrimма Пьетюрссона.

– Я как раз над этим думаю... нет, возьму его с собой. Прежде всего, это делается ради него.

Тут воцарилось молчание – сказавшее гораздо больше, чем они наговорили до того, вобравшее в себя все многолетнее общение этих добрых приятелей. Молчание это дало им рассмотреть себя в свете текущего момента, похвалить и превознести – подобно двоим ученым, которые склонились над пылающим камешком, заключенным под стекло, и постанывают от изумления. Сейчас они получили передышку для того, чтобы поблагодарить друг друга за дружбу и поддержку в нелегкой жизни в этом фьорде, – и это дорогого стоило: такое молчаливое общение равнялось десяти тысячам куч всяческого богатства; в своем сердце они ощущали блаженство, благодарность и любовь друг к другу – но держали это все при себе: ведь если не отпускать это от себя, то проживешь дольше; и вдобавок это молчание было такого рода, что выражало все лучше, чем мог бы сам человек.

Но, как это нередко бывает с такими моментами, этот таил в себе тяжелое грузило, которое начало тянуть их на нешуточную глубину, – и как раз в этот момент Лауси вновь заговорил – вдруг сухо прошептал:

– Это ты его столкнул?

– Уфф. Нет.

– А кто же тогда?

– Не знаю. Я не видел. Но вроде бы точно не я.

– За убийцу пастора взяться могут крепко. Просто убить человека – это одно, а убить рукоположенного человека – прямая дорога в ад, так они говорят, а значит, и считают, а сам я за такое рукоположение гроша ломаного не дам... чтоб преподобный Йоун считался более важным человеком, чем... Да в Стейнке из Хуторской хижины святости больше, чем в нем! А еще пастор назывался, полномочия у него были божественные! Но вот убить пастора в самый разгар похорон – это... да, с их точки зрения, это самая что ни на есть высшая мера преступления, и она заслуживает самой высшей меры наказания.

Лауси ненадолго замолчал, а затем ужасно усмехнулся и добавил:

– Представляешь, он же сам себя отпел: сперва бросил в могилу комья земли, а потом и сам в нее бросился.

И тут они рассмеялись – два друга на камне близ хутора Обвал в семнадцати метрах над уровнем моря погожим утром в начале апреля.

– От сислюманна ни слуху, говорят, сюда от него никто не приезжал, – промолвил Лауси. – К весне, видимо, будет расследование. И нас, разумеется, вызовут на допрос.

– Должен признаться, с тех пор я несколько раз желал, чтоб его столкнул именно я, – фыркнул Эйлив.

– Ну так ему все равно было поделом. А говорят, больше всех этому радовались две его вдовы. И все-таки, кто же его столкнул? – Может, просто рука Божия?

Такой ответ настолько ошеломил Лауси, что смех на его губах в мгновение ока застыл, и он вытаращил на друга глаза: слышать от Эйлива остроты он не привык, – но затем он отмер, и дружеская ласковость прочертила от его сощуренных глаз глубокие морщины, – и он снова рассмеялся.

## Глава 18

### Завтрашняя туманность

Воскресным утром наш вольник<sup>35</sup> с Нижнего Обвала отправился в Сугробную косу по снежной круговерти и складчатым волнам. Лауси долго провожал его взглядом, когда тот спускался по склону, и подождал до тех пор, пока у берега не закачалась лодка; владелец хутора чувствовал себя так, словно его друг уже отправился во Мерику. А потом закрылся занавес метели и скрыл от него гребца. Пурга продолжалась долго, так что наш верзила причалил к косе дальше, чем рассчитывал, но все же выволок лодку на берег и направился напрямик в церковь. В Сугробной косе он не бывал с самых похорон, и в нем сидела эта распроклятая робость: он побаивался этого места, церкви, кладбища и людей, которые наверняка будут бросать на него взгляды, полные осуждения (ага, вот он – этот, который нас без пастора оставил, плакала наша пасхальная служба в этом году!), а может, даже и жалости, что еще хуже. Но черт побери, если ему необходимо прошлепать вброд через канаву прошлого, чтобы прийти к будущему – то пусть так и будет! – подумал он и сосредоточил взор на глазах своего сына, и его лицо заполнило собою сознание любящего отца.

Порой в белом мраке светились прогалы, и сквозь один из них он взглянул на берег: там была только лодка с Сугробной косы, ни из Сегюльнеса, ни с Верхнего Обвала, ни с Пастбищного, ни с Холма, ни с Перста никто не приплыл. А ведь он знал, что многие собирались быть. А когда он вошел за кладбищенскую ограду, возле церкви не было заметно никакого движения, лишь неистоптанные сугробы, а церковь вдобавок еще и оказалась заперта.

Эйлив недолго постоял на дорожке, а затем шагнул за угол и нерешительно побрел к могиле своих жены и дочери: они все еще лежали там, близ северо-восточного угла церкви под простым крестом, на который Лауси, впрочем, употребил свое искусство – на его концах красовалась умелая резьба, а имена красиво прочерчены ножом, и борозды просмолены. Древесина уже слегка посерела. К Эйливу закралась мысль: а не спросить ли у них разрешения поехать с Гестом во Мерику, – но потом он решил, что это будет глупо, неловко развернулся и, посмотрев на Мадамин дом, решил, что, наверно, собрание перенесли в него. Кот в сапогах, наверно, сидел там на плюшевом кресле и залучал бедноту на Запад.

И все же на лестнице было не видать ничьих следов, а на его стук к дверям подошла лишь Краснушка, та самая щекастая девка, и прямо сразу начала эдак улыбаться ему – с чего это она его так привлекает? Но впускать она его все же не стала, сказала, мол, агента здесь нет, этот безбородый, мол, пару дней назад уехал. Затем она как следует пихнула долговязого вольника ногой, высунув из угла ухмыляющегося рта язык, так что его собственный бушприт чуть поднялся на этой волне, а потом захлопнула у него перед носом дверь.

Итак: собрания не будет, агента не будет, Америки не будет. И кажется, все это знали, кроме него. Черти полосатые! Он облекся в свою робость как в тесную робу и нарочно притащился сюда, чтоб записаться в будущее – а будущего не будет: его отменили!.. За семью годами счастья идут семь лет несчастья, думал Эйлив, сам удивляясь, насколько же он расстроился, что ему не дали перебраться со всем скарбом во Мерику.

И чтобы не получилось, что он приехал совсем понапрасну, он снова побрел на кладбище, на место рукоположенного преступления. Там он заметил неподалеку свежую могилу, встал на нее и стал мочиться, но, едва начав, пожалел об этом. Вдруг его кто-нибудь увидит? Чем это не готовое доказательство виновности в преступлении? Нет, его никто и не мог увидеть: пурга окружила его со всех сторон. Зато не успел он закончить свое дело, как из метели появился

---

<sup>35</sup> Исландский термин «lausamaður» – человек, не связанный узами батрачества ни с одним крупным хутором, возможно, бродяга. В годы действия романа подобный социальный статус, строго говоря, был вне закона.

простоволосый призракоподобный старец. Он направлялся на юг вдоль сложенной из камня кладбищенской ограды – снежновласый и снежнобородый, и, кажется, не заметил Эйлива, а тот провожал его взглядом до угла, а затем из калитки.

Ему показалось, что это был Сакариас – пророк и жалобщик на календарь. Он прошел прямым ходом к церкви и взялся рукой за дверную ручку – положил дряхлое на дряхлое, – но ему дверь не открылась так же, как и Эйливу, и вскоре они оба стояли на ведущей к церкви дорожке, словно двое заядлых мессоманов. Пророк вперил взгляд в побитую непогодой дощатую конструкцию – эту дверь.

– Кажется, сегодня собрания не будет, – сказал высокий.

Молчание.

– Ты в церковь шел?

Молчание.

– Я-то думал: тут собрание будет, насчет Мерики. Так сказал этот, в сапогах, который на «Тире» приплыл.

Молчание.

Эйлив, никогда не отличавшийся красноречием, сейчас вдруг принялся болтать – так на него влияло присутствие пророка. А тот в конце концов отпустил дверную ручку, и повернулся, и стоял на церковном крыльце со своей торчащей из плеч головой-снегосборником, заиндевелой бородой и бледно-серой физиономией. И в этой сплошной белизне единственной черной точкой был его зрачок, крошечный и продолговатый: им он смотрел далеко вглубь долины (в этом фьорде было всего два направления: вглубь и вовне) и, казалось, углядел там какую-то интересную передачу: он некоторое время не отводил оттуда глаз и, как и прежде, не замечал вольника со Следующего Обвала.

В глубине косы среди снеговерти парило солнечное пятно, очень широкий луч из божьего прожектора, и оно придвигалось все ближе к ним, словно небесный мастер по свету сейчас устроил поиск своих персонажей, стоящих в этот миг на сцене. И вот крыльцо церкви осветилось, и они зажмурились и заволновались, словно актеры, осознавшие, что свет направлен на них, а зрители ждут.

– Вот он обдает нас своей божественной пылью, – наконец вымолвил пророк – не Эйливу, и тем более не сам себе, а залу.

Эйлив этого не понял или в тот момент был где-то в другом месте, а самому ему не пришло в голову ничего, что можно было бы сказать этому залу, поэтому он лишь тихонько простонал:

– А?

– В начале был свет, и свет стал днем. И власть его пробуждает все человечество. День... Он приистекает из своего великого источника за Уралом и оттуда – на весь мир. Течет и течет...

Тут старик снова отключился и уставился во все глаза на божий свет. Луч, пробившийся сквозь метель, теперь уплывал от них вниз по горному хребту, отменяя прочь снежную пыль там, где пробегал, словно он был веником господним, и где он светил, там снежно-родные пылинки вспыхивали светом, а все прочее неосвященным падало во прах. Пророк подождал еще немного, пока луч прожектора вновь не упал на церковь и на него.

– А все же они, родимые, одинаковыми не бывают: один день – летний, другой – печальный. Подумать только: новый день... – произнес Сакариас и выдохнул, словно только что откусил свежее испеченного заварного хлеба, намазанного маслом, вобравшим холод кладовой. Затем зажмурился, продолжая обсасывать эту мысль: – Новый день...

Услышать такие слова от человека столь преклонных лет было вовсе недурно. А потом он вновь открыл глаза и продолжил проповедовать свое евангелие:

– А потом он укорачивается, он понимает, что его власть недолго продержится, и поэтому он должен отступить. И всю свою пылью сложить в огромные мешки, потому что не все надо

тратить, не надо все тратить, нет-нет... ведь завтра придет другой, и он зовется завтрашний день – а это самое прекрасное обещание, данное людям. Завтра.

Пророк изронил эти слова в каком-то трансе души, и они вышли, взявшись за руки, из его уст, обвитые самым что ни на есть святым дымом от костра веры, пылающего у него внутри, и, так же держась за руки, вознеслись на небеса. «Да, если этот человек не написал большую часть Священного Писания, то это писание само написало его», – проплыла мысль в голове у Эйлива. Но вот старик как будто пришел в себя – снова вынырнул на поверхность. – Представляешь: а если бы у нас в Сегюльфьорде был всамделишный завтрашний день? Ведь сейчас на самом деле не третье апреля, а второе. И по тому вопросу я много писал властям, и датским, и исландским. Наши календари все насквозь неправильные! – Да... – только и пришло на ум Эйливу, которого в присутствии старика охватила какая-то юношеская бездуховность. А тот продолжил свою речь, за все это время ни разу даже не кинув взора на высокого человека.

– Представляешь, как они маху дали: пропустили сам високосный день. Они про него просто-напросто забыли. Среда, 29 февраля 1532 года, к нам во фьорд вовсе и не приходила! И мы обречены отставать от всех остальных на один день, и все же быть... да-да, у нас тут на самом деле вышла такая чертовня, что жизнь в нашем Сегюльфьорде – один бесконечный завтрашний день. Ведь, проскочив один день, мы превращаем настоящее завтра в сегодня. А значит, мы никогда не живем в сегодня, а навсегда застряли в какой-то завтрашней туманности. Я много писал их величеству...

– А разве это не прекрасно? Разве мы тогда не впереди всех на пути в будущее? – спросил Эйлив, а его мысли в это время витали в другом месте.

И тут пророк наконец повернул голову, вытаращил глаза на Эйлива и сказал:

– В Писании сказано: «Кто выбирает короткую дорогу в рай, долго там не задержится».

## Глава 19

### Беглец

Что бы ни творилось с календарем, сезон добычи акулы начался, как заведено, 14 апреля. Тут лодки (палубные или беспалубные) столкнули со стапелей во всех фьордах на севере страны, спустили на воду, подрядили на них мальчиков и мужчин, и если бы лед так не мешал, они бы уже через двое суток пришли к Острову китовых костей, где матросы сидели, склонившись над своими снастями.

Этот остров был крайней северной точкой Исландии – плоский как блин, камень посреди моря, который никогда не бывал сухим, зато служил излюбленным пляжем для тюленей и птиц, коих там гнезилось два вида: кайра и малая гагарка. Этот островок был последним в стране местом, где фауна оставалась еще такой же, как до прихода первопоселенцев. Человеку с его гадким разумом не удалось нарушить незамутненность бессловесных тварей. Птицы сами клали голову охотнику на ладонь, тюлень подставлялся под нож. Цветку подобно...

У Эйлива были связи среди моряков, он сам отходил на веслах шесть путин для Кристмюнда из Лощины еще до того, как нажил жену и дом, а еще на его счету были два сезона добычи акулы в экипаже некоего Халькиона с Фагюрэйри на одном из первых палубных судов, и Эйлив хорошо запомнил эту роскошь: в открытом море иметь возможность заснуть в сухой постели.

Поскольку пастор приказал долго жить, все решили воспользоваться паузой до того, пока у этого фьорда не появилось новое начальство, которое могло и запретить прихожанам поездки. Вообще-то начальство во фьорде было о двух головах, но нынешний хреппоправитель, старый Сигтейр с Сугробной реки, был давно и основательно прикован к постели.

Помимо судов, выходивших на промысел акулы из Сугробной косы, Лощины и Сегюльнеса, во фьорде нередко можно было видеть и множество других; например, туда часто заходили корабли из Фагюрэйри, когда там, на безгорье, ветер крепчал: ведь Сугробная коса была волнорезом, созданным самой природой, перегораживавшим половину фьорда и заслонявшим берег от всех налетавших с севера буранов, которые оказывались в запасе у тогдашнего века. А еще отсюда было рукой подать до мест промысла. Порой Эйлив причаливал Лаусину кривуюлю к высокому борту и перекидывался словом с корабельщиками – старыми знакомцами из мира акульего промысла. «И-и, сейчас эта Серая туго пошла, от силы десять бочек набралось...» За одной из таких бесед выяснилось, что дата отбытия судна во Мерику уже определена: заграничный пароход отчалит из Фагюрэйри третьего мая. Мечта, умершая на крыльце Мадамина дома перед лицом краснощекой девахи, вновь воскресла в голове Эйлива. Значит, это не вздор: этой части страны и в самом деле давали шанс на поездку на Запад. Также в том разговоре он выведал, что один из кораблей, промысляющих акулу, «Слейпнир», при первой же возможности зайдет в Фагюрэйри за провиантом.

В тот же вечер, в девятом часу, когда все другие обитатели Следующего Обвала тщательно привязались своей веревкой безопасности, а огонек светильника потух, высокий человек тихонько выскользнул из постели и стал готовиться к отплытию, выволок из тайников свои пожитки, а затем сгреб в охапку мальчика, укутал его – вытаращившего глаза – своим свитером и ушел с хутора, не попрощавшись – хотя все-таки положил обпилку доски на сундук с книгами, принадлежавший хозяину-храпуну. Лишь молодой работник, Йоунас с кошачьими вибриссами, резко пробудился – но ему было до такой степени наплевать на важные шаги своей эпохи, что он не стал высказывать свое мнение по поводу исчезновения отца и сына, а снова заснул еще до того, как Эйлив спустился к морю.

Эйлив двигался быстро, но осторожно, держа мальчика в охапке, словно покражу, поскольку вокруг была непроглядная темень, лишь в самом верху на горах тускло светилося

снежное пятнышко. И все же можно было различить во фьорде восемь акулоловных шхун, из них одну – неизвестно по какой причине, – под всеми парусами, а также четыре открытые лодки. На темной поверхности фьорда парусники казались еще более черными единорогами, которые спали, положив голову на копыта, так что их рога смотрели прямо вперед. С одной палубы в ночную мглу вылетел вопль, затем смех. Эйлив положил мальчика в лодку и оттолкнул ее от берега, а потом и сам запрыгнул в нее.

– Носью плывем? – спросил Гест, но в его словах не было ни тени страха, напротив, такая затея отца ему, кажется, была по нраву.

– Да, мы уезжаем из этого фьорда. Скажи ему: «До свиданья!»

– Досиданя!

– Вот именно. И сиди спокойно, держись за скамью.

– Досиданя!

Эйлив тайком подошел к борту «Слейпнира» и осмотрелся в поисках кого-нибудь из экипажа, но на вахте, судя по всему, никто не стоял. Он примерился к борту: чтоб дотянуться до его края, ему придется встать на скамью в кривуле – что он и сделал, с мальчиком на руках: поднял своего карапуза на борт шхуны (и таким образом Гест стал первым и единственным ребенком, которому когда-либо довелось побывать на исландском акулоловном судне), а затем отпустил его на палубу, не видя, что его там встретит: поколюка или совня, крюк или резак – так назывались разные виды оружия, применявшегося в той войне, которую человек вел против Серой. – Ты уже там?

– Тут пафнет! – отвечал детский голос из-за побитого волнами просмоленного борта, в течение шести лет служившего для двенадцати человек бруствером против самых лютых морских чудищ, испещренного следами от укусов акул и айсбергов.

– Что?

– Тут пафнет!

– А, пахнет? Это вытопка проклятая. Обожди там!

Потом Эйлив взял линь своей лодки с грузилом и зашвырнул его на корабль, подальше за релинг, чтоб не зашибить мальчонку, и булыжник с громким «бум!» ударился о палубу. За ним последовали пожитки в кожаном мешке, с более мягким звуком, а затем и сам беглец начал подтягиваться на борт, но это дело шло крайне медленно: хотя руки у него и были крепкими, тело все же было большим.

– Эта нась коляблик?

– Уффф... Нет, мы просто попросим, чтоб нас на нем подвезли... Здравствуйте!

«Бум!» все же разбудил кого-то, и теперь этот кто-то шел им навстречу, пробираясь вдоль релинга – во всяком случае, им так показалось в темноте. Эйлив не договаривался о спальном месте для себя и сына с предводителем, понадеявшись лишь на добрых парней Эгира<sup>36</sup>, ведь на море все братья, к тому же один из экипажа был ему знаком. Он приготовился рассказывать историю своей жизни, перечислять, кто были его предки, где он батрачил, где жил, а затем – ту историю, которую он в минувшие ночи сколотил молотом своей робости, – историю, которая должна была дать им возможность добраться до Фагюрэйри. Но с этим ему пришлось погодить, потому что в этот момент голова корабельщика свесилась за борт, и из нее изверглась мощная струя блевотины, сопровождаемая горловыми звуками. Гест смотрел на это действие, выпучив глаза. Затем корабельщик выпрямился, вытер остатки рвоты тыльной стороной ладони – и подал ту же руку Эйливу, так как был рад гостям, а рукопожатие сопровождалось редкозубой улыбкой под черной как ночь шапкой. Эйлив ответил на его приветствие и тотчас заметил, что моряк был пьян в дым. Едва успев закончить рукопожатие, тот стремглав бросился снова к борту и изрыгнул свой внутренний свет в ночную мглу. Но сейчас Эйлив слышал, что бле-

---

<sup>36</sup> Морской бог древнескандинавской мифологии.



вотина попала не в воду. Он выглянул за борт и увидел, что светлые цветные пятна украсили лодку возле корабля. А затем моряк шутливым тоном произнес:

– Какой у нашего Лауси нынче улов богатый!

## Глава 20

### Веселая компания акулоловов

– Что за бабу ты притащил, Сньюсси?! А это кто – ребенок?

– Ну она и уродина, так ее растак!

– Ты, небось, напился до бесчувствия, когда ее подцепил!

Все трое уже спустились под палубу и стояли на пороге кубрика, дожидаясь, пока утихнет град насмешек. Кубрик был битком набит моряками, они сидели каждый на своей койке и передавали друг другу бутылки, разражаясь громовым хохотом. Воздух здесь был просто ужасный, насыщенный трубочным дымом, потом, рыбьим жиром и соленой влагой, и этот мужской туман освещал довольно изящный жирник, свисавший с одного из стропил. Вдобавок огонь чадил в печурке, стоявшей у переборки возле дверного проема. В передней части этого корабельного отсека были двухъярусные койки по обе стороны, на трех из них сидели люди, а на четвертой (нижней) было навалено непонятное барахло, коробки и мешки. Внутри помещения были две носовые койки, сходявшиеся концами у штевня корабля. На них можно было разглядеть двух лежащих людей. В другом углу виднелись промоченные морем кожаные чулки, кожаные куртки, свитера и моряцкие рукавицы среди принадлежавших корабельщикам рундуков – так назывались в акулю эпоху контейнеры для завтрака. Пол был обезображен пятнами морской воды, крови и табачными плевками.

– У меня мамка помейла, – ни с того ни с сего брякнул сидевший на руке у отца Гест, словно понял эти просоленные издевки и почувствовал необходимость объяснить свое место в мире. Эйлив сносил насмешки моряков со всепрощающей улыбкой, – он хорошо помнил свою разгульную жизнь, когда он, бездетный, ревел над откупоренными бутылками, – и нагнул голову, стоя на пороге кубрика. Он не увидел своего приятеля – того, кто, как он надеялся, должен был стать его опорой в этом экипаже, – зато один из корабельщиков оказался знаком ему: черноволосый редкозубый уроженец Оудальсфьорда, который сидел возле койки-склада на своем рундуке и уписывал из него сушеную рыбу, а сейчас замолчал так же по-дурацки, как и остальные.

Гесту удалось заткнуть рот целой веселой компании акулоловов – а ведь ему всего два года! Да он бы во Мерики стал генералом, не иначе!

– Ну у мальчика и язычище! На наживку, что ли, его пустить?

Тут хохот зазвучал снова, но уже более тяжеловесный – отягощенный грузилами нечистой совести.

– Нам во что бы то ни стало нужно попасть в Фагюрэйри, а мне стало известно, что вы идете туда за попутным ветром. Старшой у себя?

Тут компания вновь разразилась ржанием, потому что сейчас нашему беглецу указали на того, кто был пьянее всех: тощего длинного мужика с бородкой воротником, широкоплече притулившегося на краю койки у левого борта; казалось, он забыл только закрыть глаза, а так – находился в каком-то забытии между сном и бодрствованием перед пародией на стол, стоявшей посреди кубрика под лампой. Этот мужик держал руки на коленях, а голову вытянул, и его поза больше всего напоминала позу человека, поднявшего пол-ягодицы с сиденья, чтоб воздух из кишок выходил лучше. Старшой был одет в желтоподмышковую нижнюю рубаху, с левого плеча которой на спину тянулось пятно сажи. Продубленная морем, редковолосая голова все время клонила вниз и вперед с удивительно точной медлительностью, при этом осторожно подрагивая в такт корабельной качке, и эта большая голова постоянно стремилась на стол, и лоб грозил встретиться с бортиком, окантовывавшим края столешницы. Но когда казалось, что эта встреча вот-вот неминуемо произойдет, голова неожиданно отклонялась назад-вверх, и, судя по всему, здесь действовали одни лишь божественные помочи, все еще трепетавшие при

его душе; в сознании этого мужика капитанская ответственность еще не заснула пьяным сном и удерживала его голову на своих потрепанных веревках, – и вот, он успел поднять эту голову и повернуть ее к Эйливу, все еще стоявшему в дверях, и тогда все увидели, каких нечеловеческих усилий это потребовало от старшого в его полубессознательном состоянии. Он, разинув рот, уставился на Геста и спросил его отца голосом, доносившимся с большой водочной глубины:

– Ты ягненка привел?

Экипаж рассмеялся над своим предводителем, который, надо заметить, говорил до обалдения искренне, и постепенно эта веселая, лампоосвещенная вечеринка угасла на темных волнах холодного фьорда в середине акулодобывающего века, как оно во все века бывает с мужскими вечеринками, если туда забредет ребенок. В меру пьяный штурман проводил отца и сына в каюту старшого на корме, где Гест и заснул самым крепким сном в древнейшей колыбели мира под мощный храп капитана, которого двум корабельщикам в конце концов удалось взгромоздить на его постель. Эйлив проснулся еще до отплытия и отбытия и попросил штурмана держаться берега настолько близко, чтоб можно было забросить линь с грузилом от лодки Лауси на взморье возле Следующего Обвала – что и было сделано. Там Йоунас на следующий день и найдет лодку, всю облеванную, а бедняга Лауси в это время не будет сводить глаз с обпилка доски, который обнаружит на своем сундуке с книгами и на котором вырезано слово «МЕРИКА».

Так отец с сыном окончательно уехали из Сегюльфьорда.

Когда шхуна на всех парусах проходила мимо оконечности Сугробной косы в утреннем сумраке, а Эйлив стоял возле кнехтов у левого борта, ухватившись за такелаж рукой, он не удержался и бросил взгляд в сторону пасторского жилья. По левую руку ему был виден величавый Мадамин дом, а чуть в отдалении – церковь и к северу от нее Старый хутор, где обретались батраки, голытьба, пророки и коровы. Затем он перевел взгляд на церковь и кладбище и попытался разглядеть крест на могиле жены и дочери, чтобы красиво попрощаться с ними, но в голову к нему забрело лишь изображение из соседней могилы: его внутренний взор вдруг проник в мозг пастора Йоуна: он был нараспашку и гнил, а сам Йоун лежал на вечной подушке у себя в гробу и так чертовски громко орал своей посмертной гримасой, что наш беглец даже отступил и передвинулся на форштевень. Оттуда он увидел, как в соленой предутренней дали поднимается его жизнь, увидел здания, высокие словно горы, дома, которые кто-то прозвал небоскребами (ну и слово!), танцовщиц с пучками перьев в руках и на груди, увидел, как его сыночек сидит в диковинном сооружении, что само катится на колесах: образованный, улыбающийся во весь рот, – а посреди улыбки у него сверкает золотая специя<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Старинная датская монета.

## Глава 21

### Сосед по комнате

Город Фагюрэйри располагался в самой глубине великого Эйрарфьорда, который был настолько длинным, что тянулся от самых крайних побережий вглубь острова почти до середины. Если уподобить Исландию большому тарту-мороженому, из которого вынули длинный кусок, то место, оставшееся от этого куска, и было бы Эйрарфьордом, украшенным тремя песчаными косами: Фагюрэйри, Квальбаксэйри и Мьяльтэйри. Первая из них находилась в глубине фьорда и благодаря своему расположению была в этой холодной стране единственным островком климата, хоть сколько-нибудь похожего на континентальный. Прохладные ветры с юга, пробежав через всю страну, прибавляли несколько градусов тепла и сбегали с центрального высокогорья горячими, как из печи. Приезжих это удивляло: ведь, согласно общему правилу, исландский ветер должен быть холодным, – и порой можно было заметить, как гость стоял в изумлении на туне<sup>38</sup> и сушил свою давно промокшую душу теплыми дуновениями с юга. Точно так же и арктически студёные северные ветра всегда оказывались изнурены долгим путешествием вглубь фьорда, когда наконец достигали Лужицы – так называлась гавань в Фагюрэйри, в которой веками царил штиль.

Также там произрастал единственный на всю Исландию лес и единственное поле со злаками, а в городе перед лучшими домами в палисадниках распускались декоративные растения. Так что поселение здесь было необыкновенно цветущим, от него веяло другими странами, более обыкновенными, в которых выпадало больше бессветных дней, чем лишь один-два, и где люди, например, считали в порядке вещей сидеть в кресле на улице. Жители города в связи с этим осознавали свою ответственность и пытались обращаться со своими необычными условиями жизни достойным образом, снимали шапки перед деревьями и разговаривали со своими цветами по-датски<sup>39</sup>.

Здесь было примерно пятьсот жителей, в основном простонародье, в поте лица добывающее пропитание, однако на этой прекрасной косе также складывалось и крошечное сообщество чистой публики, так как множество шляпоголовых стучало тростями о мостовую: сислюманн, викарный епископ, пастор, редактор, торговец, еще торговец, и еще торговец, рыбопромышленник, крупнейший исландский поэт. Они никогда не спешили по городу, напротив, им приличествовало почтительно шествовать при цилиндре и перчатках. Они всегда здоровались друг с другом, словно учителя, встретившиеся в коридоре гигантской школы, слегка утомленные тем, что им день-деньской приходится общаться со всякими невеждами и просвещать их, а также довольные, что им удалось перекинуться словцом с ровней. Своих жен они держали дома, большею частью на верхних этажах, где те развлекались писанием писем, вышивкой и прическами.

– Смотри, папа, домики! Много домиков!

Гест как замороженный смотрел на город, полукругом обступивший Лужицу, простершуюся от середины косы вглубь фьорда. Даже его отец удивился этому деревянному царству, которое с тех пор, как он бывал здесь в последний раз, явно подросло. Плавание прошло хорошо; «Слейпнир» легко вплыл во фьорд под сырым северным ветерком, его лишь слегка покачало, когда он проходил крайнюю скалу Оудальсфьорда. От той качки Гест проснулся, и его стошнило на ладони отцу. Больше всего сия рвота напоминала золото.

---

<sup>38</sup> Тун – на исландских хуторах сенокосный луг перед жилым домом или вокруг него.

<sup>39</sup> В описываемое время Исландия входила в состав Королевства Дании, и датский был там языком высших сословий, торговцев и чиновников (среди которых действительно преобладали датчане). В исландских семьях, близких к этим кругам, было заведено по воскресеньям говорить по-датски.

Их пустили к себе жить Лауренсия, сестра матери Эйлива, и ее дочь Маргрет. Они обитали на Косе в каменном подвале искривленного ветрами деревянного дома, стоявшего во втором ряду, если считать от взморья. Отцу с сыном отвели темный закуток в глубине жилья матери и дочери, – место, во многом бывшее дивной помесью сырой прачечной и конюшни, потому что в передней части комнаты стояла рухлядь-кровать для людей, а в задней, за обветшавшей деревянной решеткой жевал сено абсолютно черный жеребец. У него был выход из подвала через заднюю дверь, но он им не пользовался, а справлял нужду прямо на пол. Желтый ручей тянулся из-под решетки на середину комнаты, где впадал в продолговатую лужу, которая в свою очередь вытекала в неприглядный сток, зиявший в полу.

– Как его зовут? – спросил Гест вне себя от радости.

– Космос, – сухо отвечала старуха.

Лауренсия родила в этот мир 18 детей, и у нее развилась на этот вид существ стойкая аллергия. Младшей у нее была Маргрет – больная, находящаяся на попечении матери, уже одиннадцать лет прикованная к постели. Это был тяжелый случай морской болезни, возникшей, когда мать с дочерью плыли сюда с Лодочного берега, и не прошедшей на суше. Эта сухопутная морская болезнь выражалась в обильном образовании влаги и выделений вокруг больной, стена в ее изголовье была сплошь покрыта морскими водорослями, белоракушечными морскими желудями и мшисто-зелено-рвотной плесенью.

– Кофмос! Там мамка живёт! – воскликнул милый мальчуган, не сводя восторженных глаз с жеребца, а потом на секунду призадумался: – Мамка в лофадь.

Конек сделал небольшой перерыв в жевании и чуть заметно двинул головой в сторону отца и сына, а его морда при этом напоминала обиталище усопших. В узкой полоске дневного света из грязного оконца под самым потолком на его черном лбу посверкивала звездочка.

Старуха давным-давно исчерпала весь свой запас гостеприимства; она резкими шагами ходила по комнате: худоногая, согбенная – так что ее седые косички мотались у нее перед лицом, словно атрибуты какого-нибудь дохристианского раввина. Это придавало старухе вид одновременно весьма древний и на удивление девчачий. – Кормить я вас не буду. Тут еще в прошлом году все кончилось.

Вечером они скудно поужинали взятой в дорогу провизией. На завтра было 29 апреля. Через четыре дня должен прийти их корабль. В этом агент не соврал, потому что подтверждение Эйлив получил от двух галстучных господ у лавки Коппа, и тогда грубиянка Лауренсия стала ругаться, что весь город заполонил люд, «без которого в стране воздух будет чище»<sup>40</sup>, а потом взяла и захлопнула ту влагозащитную мембрану, которая в этом жилище играла роль входной двери. Гест вытаращил глаза на эту дверь, а затем на другую, полуприкрытую, ведущую к больной. А затем тихонько вошел к этой своей родственнице, приблизился к кровати и прошептал на ухо тайну:

– А мы во Мейику едем!

Женщина с синими кругами под глазами стеклянно уставилась на него из-под своей богатой коллекции морской фауны, украшавшей стену (а что это вон там? часом не морская звезда?), и ответила жалким хриплым голосом:

– О, о! Прямо через океан?

Ее услышал Эйлив, вздыхая, пришел к порогу, извинился за сына и велел ему оставить больную в покое. Старый хуторянин из Перстовой хижины порядком умотался оттого, что ему постоянно приходилось исполнять роль няньки, будь она неладна! Он-то рассчитывал, что родственницы приглядят за мальчиком, а он будет ходить в город по делам и, может быть, заглянет к своему другу старине Вальди из Ущельной хижины, у которого всегда найдется глоток кора-

---

<sup>40</sup> Большинство исландских переселенцев в Америку было бедняками, находящимися на попечении сельских общин. (Некоторых из них эти общины отправляли на новые земли, стремясь избавиться от нахлебников.)

бельного винца. Но об этом и речи быть не могло: одна не вставала с постели, а другая была настоящим ходячим пугалом для детей. Этот мужик вытаскивал акул из моря, овец из сугробов, проходил буран насквозь за каких-нибудь пятьдесят часов – но все это было детской забавой в сравнении с этим непосильным трудом. Мальчику вечно хотелось есть, болтать, какать, писать, а еще он вечно вертелся, и с него ни на миг нельзя было спустить глаз. Если Эйлив улучал минутку, чтоб выполоскать с тряпки-подгузника и из ночного горшка следы поноса, Гест с голеньким задом уже оказывался на улице и на взморье и уже вовсю ссорился с шелудивым псом из-задохлой птицы. Заканчивалось все это, разумеется, горькими слезами, а измученный отец спрашивал всех своих внутренних человеков, не лучше ли подыскать для ребенка хорошую приемную семью, а самому отправиться во Мерику в одиночку. Это разве препятствие? Где вообще видано, чтоб мужчина возился с малышкой? Конечно же, нигде, и на то есть своя причина. Вот как, черт возьми, повязать на ребенка эту тряпицу, чтоб все какашки сгружались точнехонько в нее?! Но потом он вспоминал свое возвращение в Перстовую, ноги жены и маленькую ручонку в ее руке, – и чувствовал, что никогда не расстанется со своим Гестом.

Корову Хельгу он в конце концов продал Стейнгриму, а также получил на руки сумму за продажу земли Перстовой хижины, которую в свое время положил на счет хозяина Перстового в кооперативе, – всю за вычетом хлопот, которые эта выплата доставила купцу. Ведь в том банке, который представляла собой лавка исландского торговца, деньги снимали отнюдь не каждый день, там господствовал товарообмен, так что торговец обвинил Эйлива в том, что тот хочет выбить почву из-под ног у его дела, требовал у него разрешения от хреппоуправителя, – да и что он собирается делать с такими деньжищами – стоимостью целой коровы и хижины? В конце концов нашему герою удалось-таки выбить из него свои деньги: не мытьем, так катаньем; правда, торговец отхватил себе от этой суммы четвертую часть как компенсацию самому себе за моральный ущерб. В карман брюк Эйлив положил сто старых ригсдалеров – единственные деньги, которые он в жизни держал в руках: их должно было хватить на проезд до Шотландии, а оттуда – через океан на запад.

Через океан на запад! Подумать только: он купит себе целый океан!

Космос был приятным соседом по комнате: спокойным, домашним, не двигался с места и целыми днями жевал свое сено, которое всегда берег, ведь ему – подвальному коню – много и не давали. Для Геста он был богом, а Эйлив был вынужден признать, что ему трудно заснуть, если так близко от него стоит лошадь; корова Хельга – это другое дело, по вечерам она всегда укладывалась в их маленькой бадстове, а конь спал стоя, плотно сжимал ноги, выпустив из них все сознание, превратив их в четыре ножки, а собственное туловище – в матрас, голову – в изголовье, – он превращал в кровать самого себя и так спал самым идеальным в мире сном.

Этот тихий мудрец был преисполнен метафизического покоя и наделен сверхчувствительностью к обстоятельствам. Когда он бодрствовал, то часами мог стоять неподвижно, размышляя о положении вещей во Вселенной, истории и развитии галактик, тихонько вращавшихся в нем. Его с легкостью можно было бы назвать философом, думающим о судьбах мира, если б он сам по себе не был целым миром. Во всяком случае, наш мальчуган был убежден в этом.

«Космос не спáет», – такую фразу он произносил последней каждый вечер, а потом снова ложился и смотрел, преисполненный восхищения и благоговения, на этого своего огромного друга, молча стоявшего в своем углу, – пока глазки Геста не закрывались; и тогда его разум выходил прогуляться по сновидениям в детской душе, показывал свои быстро-летучие картины и вытряхивал из своего цилиндра северные сияния, крутящиеся в космосе души. Все это были такие вещи, о которых Гест никогда не узнал бы никаких вестей, этот блистательный хаос принадлежал океанским глубинам жизни. Ибо как море таит в себе жизнь, богаче той, знакомой человеку на земле, так и душевная жизнь представляет большей частью неисследованную

бездну, где днем и ночью сверкают гигантские зарницы, которые ни один человек никогда не видел собственными глазами.

Впрочем, мы кратко опишем их здесь.

В Гестовых глубинах ночами напролет сияла та смутная уверенность, что его мама – где-то в конских внутренностях у Космоса, плавает там при мертвенно-синем свете своей души – умершая женщина, а в придачу к ней и сестренка, и они наконец приняли окончательную форму усопших, больше всего напоминающую скомканную бумажку, но при этом твердую и неизменную. И эти два черных горестных комка плывут по Вселенной, повинувшись законам ее ветров, подобно шуршащей опавшей листве на улицах и в садах. Но эти формы посмертного бытия все же имеют крошечный размер, чтобы целые души Вселенной уместились в одном коне, а кроме них коня темноты наполняют все звезды небесные, вся жизнь планет и все планеты галактики, все галактики, известные и неизвестные, вместе с их похожими как две капли воды богами, и вся эта гигантская совокупность тихонько плывет по жилам черного Космоса, где каждое солнце – белое кровавое тельце, а каждая луна – красное кровавое тельце. По этой причине Космосу приходилось двигаться очень осторожно, а лучше всего вообще не двигаться, ибо черно-бурый звездоносный конь лучше людей знал, что он – Вселенная. Каждый клоч сена, который он съедал, сгорал в космической пустоте, подобно комете, и каждый метеорит, упавший с него, тотчас уносился на *всеполе* которое окружает Вселенную и превращает сена воз в навоз путем простой замены звуков. Это называется – круговорот жизни.

Когда Гест просыпался от этой круговерти и распахивал свои прекрасные планеты, которые провели ночь на орбитах во чреве коня, его отцу выпадала крупница покоя, словно кроха сахара, подслащавшая весь день. Конечно же, он – его сын, конечно, он и есть сама жизнь, конечно, он стоил всего этого! И пусть они несхожи обликом, они – одно целое: он и сын. Все, что было внутри него, – было и в нем.

И вот он лежал на подушке, и улыбался своим большим лицом, и восхищался тем, как его сын восхищается миром, который стоял здесь же в углу, со своими по-космически толстыми губами.

## Глава 22

### Простой человек из народа

День начинается с хлопанья двери. А затем старуха поднимается по лестнице подвала, по-детски торопливо шагает в утренний сумрак со своими двумя косичками над лицом, мешающими ей, и двумя тепловатыми хлебами под мышками, – ммм, это самые теплые предметы этого раннего часа. В шесть она уже торопится на парадную лестницу.

При громком хлопаньи двери Космос и ухом не поводит, он к этому привычен: так в подвале начинается каждое утро: с аромата хлеба и хлопанья двери, – но вскоре он поворачивает уши совсем не туда, куда смотрит его голова, а на самый север, потому что сейчас над городом прокатывается звук пароходного гудка – одного гигантского гудка. Эйлив не может сказать, каков этот звук: мрачный, апокалиптический – или он сулит лучшие, прекрасные времена. Но как бы то ни было, такой гудок не каждый день раздается в исландских фьордах. За ним стоят сто восемьдесят исландских душ, которые этот корабль собрал в портах на востоке страны, и этот трубный звук получился из-за того, что сейчас они все сообща чихают на свою родину. Корабль «Мэйфлауэр», идущий в Америку, входит во фьорд.

- Нет, Гест, родной, не лезь в лужу!
- Я поговорю с Кофмосом. Сена ему даду.
- Тогда обойди с другой стороны.
- Можно в лужу пописать?
- Нет, мы пойдем писать на улицу.

Над высокогорной стеной по ту сторону фьорда пролилась рассветная кровь – не даром про это время суток говорят «рана», – и небо уже стало прозрачно-светлым, как моча, когда отец с сыном закончили свое мокрое дело за домом. Гест после четырехдневного пребывания с отцом научился справлять малую нужду без посторонней помощи. На обратном пути они разглядели в утренних сумерках спину человека, стоявшего у дома напротив, богатого дома ближе ко взморью, украшенного двумя освещенными окнами.

Их глазам предстали черные подтяжки, пересекавшиеся на белой нижней рубаше крест-накрест, в виде большой буквы «Х». Тот человек, очевидно, был их товарищем по мочеиспусканию; он вытряс из себя последние капли, застегнул ширинку, повернулся и пожелал доброго утра. Эйлив ответил на его приветствие и уже собрался спускаться в подвал Лауренсии, но человек в подтяжках и без шляпы был, очевидно, подвержен приступам утренней бодрости, порой одолевающей мужчин средних лет, что на пике жизни начинают с нетерпением ждать утра и кофе, как в молодости ждали вечера и рюмки, и предпочитают встречать каждый рассвет уже на ногах, в своей мещанской радости от неожиданной посылки, новой собаки или неудачи коллеги, о которой можно узнать из свежей газеты. Во всяком случае, этот мочеиспускатель в то утро был в исключительно хорошем расположении духа и захотел перекинуться словом с добрыми соседями, а может, к этому примешивалась еще и кроха любопытства: как живет простой народ – люди, населяющие эти бедные домишки позади него.

– Вот это я понимаю – корабль! – сказал он, глядя через плечо Эйлива на взморье и фьорд. – Судя по виду, в нем тонн 1 600 будет.

Эйлив развернулся и не мог не согласиться с собеседником:

– Да... Это ведь пароход?

– Верно. Английская гадость, которая плавает везде, гудит и сманивает от нас население целых долин, словно он их всех своим гудком в сказку зовет. Наш редактор назвал его «пароход-людосос». Будь у меня пушка (а она бы мне не помешала, хо-хо), я бы сегодня утром пальнул со всей силы – и прямо по капитанскому мостику! А так сегодняшний день просто



роскошен, потому что вчера «Фагюрэйри» привезла сто бочек. Сто бочек, представляете! А это сынок ваш? Я вас тут раньше не видел, вы у Хавстейнна живете?

– Нет, в подвале, у Лауренсии.

– А-а, этой, с косичками! Вот это женщина!

– Да, ей в жизни пришлось тяжело.

– В этом я не сомневаюсь, а кому вообще легко? Я ведь и сам, скажу как на духу, родом с Раздавленного хутора в Нищевродской долине. Там даже коровы не было – вот представьте себе: не было коровы на хуторе!.. Но, кажется, я тебя узнаю; я тебя раньше видел?

Едва собеседник произнес это, Эйлив понял, с кем же он разговаривает. О нет, какого лысого!..

– Нет, не думаю.

– Слушай ты, болван! Ты мне, милый мой, должен 99 форелей! Девяносто девять! Вот это повезло так повезло! Вышел за нуждой, а вернулся с 99 форелями! Где они?

– Они... ты... Вы тот самый торговец?

Эйлив спросил словно ребенок. Ведь он видел Коппа только в полной амуниции, а в исподнем – никогда. И ему никогда не приходило в голову, что торговцу надо справлять нужду, как и другим.

– Ну, может, я и не «тот самый», но один из троих. Ты брал у меня в кредит пшеничную муку под Рождество, пять кило, верно? – Нет... всего три.

– Ну вот, видишь. И ты должен мне девяносто девять форелей из вашего озера там, в Сеглафьорде!

– Ну... С тех пор много что изменилось.

– Девяносто девять форелей так и остаются девяносто девятью форелями зимой, весной, летом и осенью. Точно так же, как сто бочек – это сто бочек и на море, и на суше.

– Да, но...

– Никаких «да, но»! Когда я получу свою рыбу? Сегодня?

– Нет, сегодня не выйдет. Мы сегодня во Мерику уезжаем.

## Глава 23

### Взыскание долга

Тут Эйлив Гвюдмюндссон заплатил за честный ответ слишком высокую цену. Позже днем комитет из трех человек: сислюманн, блюститель закона и Копп, – выплыли на Лужицу и поднялись на большой пароход «Мэйфлауэр». Там они спросили некоего господина Гвюдмюндссона и принялись изучать список пассажиров. Мистер Адамс, белобородый капитан с шотландским акцентом, не придавал этому значения: ведь все, кто поднялся на борт, заплатили за проезд и фактически уже выехали из страны: корабль есть корабль, а находится на море – значит находится в другой стране с другими законами, и мистер Гвюдмюндссон теперь гражданин океанов, свободный от всех грехов на суше. Однако начальнику полиции можно послать ходатайство о выдаче в соответствующую инстанцию, в данном случае в канадское министерство иностранных дел или их представителю в Лондоне. Но исландцы были упрямы как черти и надели на капитана:

– *In this ship is crime!* <sup>41</sup>

Действие перенеслось с капитанского мостика на палубу, где члены экипажа в конце концов поддались уговорам и вывели тех 37 горемык, которые записались в поездку на этом «Майском цветке» в тот день – как раз третий день мая. Сплошь нищие беженцы с трех кос и из четырех долин, длиннополые платконосные женщины да усатые угрюмобровые мужчины, и в присутствии своего старого начальства они добровольно и машинально выстроились в очередь между двумя мачтами по длине палубы, как обычно делают люди в своей дружной покорности властям. Никому не пришло в голову очевидное: могучие батраки запросто могут скинуть эту делегацию, эту ряженую троицу за борт. Но здесь каждый знал за собой какую-нибудь вину, невиновных здесь не было, здесь все были слишком бедны, чтоб считаться порядочными гражданами, и если уж на то пошло, все они что-нибудь да задолжали своему торговцу, а кое-кто даже не отбыл причитающееся ему наказание розгами в самой медленной судебной системе на свете, – на самом деле здесь любого могли вновь бросить в его лачугу или даже в темницу.

Сислюманн был по-тюленьему толстый, пузатый, с лицом более копповским, чем даже у самого Коппа: толстые щеки, маленький нос, аккуратная коротенькая бородка – но колючие глаза хищной птицы под хмурыми бровями и красиво блестящий второй подбородок, которым он гордился и каждое утро тщательно выбривал. Он окинул очередь взглядом, затем прошелся вдоль нее, думая: какая же она, наверно, жалкая, эта богом забытая страна, если собирается принять этих нищих, этих убогих голодранцев! Наверно, эта «Мерика» – какая-то сточная канава мировой истории. Сислюманна сопровождал длиннолицый худощавый полицейский, а следом за ним пыжился Копп в сюртуке и цилиндре, и он быстро нашел своего должника, свои 99 форелей. Эйлив, стоявший и державший мальчика на правой руке, ответил торговцу взглядом свинцово-тяжелых зрачков из-под своих черных бровей.

– Вот он! Он у меня украл! – завопил торговец так громко, что у него в носовой части засвистело, – и тут испытал облегчение, подобно человеку, отыскавшему пропавшую лошадь: – Вот этот, с мальчиком!

Сислюманн облизал губы, сложил их трубочкой, затем снова облизал, так что темные усы и борода вокруг них пошли складками, словно шерстяной носок, который надевают на пальцы, чтоб сделать из него куклу, – но второй подбородок под этим всем двигался словно горло сокола, проглатывающего мышь. Но не успел он обратиться к обвиняемому, как откуда ни возьмись появился тот проворный американский агент, кот в сапогах, южноисландский чистоплюй,

---

<sup>41</sup> – На этом корабле преступник! (искаж. англ.)

который несколько недель назад, словно русалка на скамье в лодке, продал сегюльфьордскому вольнику мечту о строительстве железного пути. И где же этот кот скрывался? Он обратился к Коппу:

- Сколько, вы говорите, стоят эти форели?
- Стоят? – переспросил Копп.
- Да. Почему вы, датчанин, пшеницу продаете?
- Эээ, я... не помню.
- Сколько стоит кило муки у вас в лавке?
- А?

Торговец не нашелся что ответить. Такого нелепого вопроса ему никто в жизни не задавал!

- Какова цена за килограмм? – не унимался агент.
- Ну... тут по-разному бывает.

Это было настоящим разоблачением исландской экономики, основанной на принципе «что левая нога захочет», изменчивой, как облака в небе. Исландцы были выносливы, смекалисты, большинство из них умело и подать руку помощи, и отыскать выход, они лучше всех народов приспосабливались к неожиданным обстоятельствам – но ничто не угнетало их больше, чем постоянные величины, взвешенные решения, заключенные договоренности и четкие планы. Этот народ лучше чувствовал себя при неопределенности, чем при определенности, попав в переплет, предпочитал выкручиваться, но ни в коем случае не находить выход с помощью рациональности и предусмотрительности. Все это относилось и к торговцам в этой стране, ведь у них, конечно же, хватало ума нажиться на такой сложнотемпераментности своих земляков. Но может, это все происходило из-за поэзии – явления, которое другие народы только терпели, а исландцы читали. Ибо здесь даже основные величины экономической системы – цены на муку, на мясо и вино – являлись поэтическим вымыслом, были нафантазированы, переменчивы – зависели лишь от капризов вдохновения.

- По-разному?
- Да, смотря по тому, с кем имеешь дело... и время, и место, и...
- Цена за килограмм муки зависит от времени и места?
- Да.

– Господи Иисусе! И стоит ли удивляться, что все эти люди решили уехать в Америку? Как, по-вашему, каково с этим жить, зависеть от вас, платить такую цену за нищету?

- Изменник! Ренегат! – закричал на него торговец.

Капитан Адамс и несколько других членов экипажа удивленно смотрели на это столкновение земляков на открытой палубе, а позади них пассажиры, беглецы из других округов, обступили увлекательную сцену полукругом. Мало что так интересно, как наблюдать чужую ссору. Жители Эйрарфьорда все еще стояли, выстроившись в очередь между двумя мачтами, со своими пощипанными морозом лицами девятнадцатого века, а их широко распахнутые глаза были полны туземного страха и тревоги, так что вся очередь сильно напоминала скот, ждущий, пока хозяин решит, кого пустить под нож, а кого оставить. Сислюманн почувствовал, что речь идет о чести – и его собственной, и его народа, и вмешался, пытаясь сдерживаться и говорить объективно – что все-таки не вполне удалось ему:

– Мы... давайте, мы не будем пускаться в прения о нашей исландской действительности. Как всем ясно, она сложна, и крайне спорной является та попытка обескровить нашу страну, которую мы наблюдаем здесь...

– «Обескровить»! – вскричал безбородый агент. – Это кровосос-то говорит «обескровить»! Прошу вас забрать эти слова обратно, так как я здесь помогаю нуждающимся. Если уж употреблять сильные выражения, то уместнее сказать, что сейчас рабам даруется свобода.

Люди из всех сил слушали; видимо, кто-то из них услышал слово «свобода» впервые в жизни, а другие морщили нос: ишь, он нас рабами назвал, да мы рабами-то никогда не были, разве что у собственной страны в рабстве – но ведь это у всех исландцев так. Представитель отечественной власти скосил глаза на широкобрюхого капитана и ощутил острую необходимость загасить этот спор: внутрисемейные дразги в чужие дома выносить ни к чему. С другой стороны, сислюманну подобало довести процесс взыскания долга до конца.

– Давайте охладим наш пыл. Приношу вам извинения за свои слова. Но факты таковы, что этот человек, Эйлив Гвюдмюндссон из Сегюльфьорда, остался должен торговой лавке, и мы не можем выпустить его из страны. Закон есть закон.

– Девяносто девять форелей! У нас была договоренность! – бубнил Копп.

Агент спустился так же быстро, как и взбегал наверх, и взвешенным тоном поинтересовался:

– Сколько вы заплатите за такой улов?

– Это... это...

Торговец замялся с ответом, а кот в сапогах усмехнулся уголком рта и потряс головой, а потом быстро повернулся к Эйливу и спросил:

– Сколько у тебя есть?

Эйлив превратил свои хижину и корову в ригсдалеры, а их, в свою очередь, в кроны у одного копилколюба в Фагюрэйри, который также снял с этого обмена сливки, как и торговец из Сегюльфьорда. Из того, что осталось в итоге, Эйлив отдал за билет через океан сто двадцать искрон, а своей скупой родственнице за постой – десять крон. Так что оставалось у него семьдесят крон, которые он еще раньше днем поменял у представителя пароходного агентства на английские королевские фунты.

– Двадцать фунтов.

– У него двадцать фунтов. Этого будет достаточно за форелей?

– Фунтов? А это что такое?

– Это валюта королевы английской Виктории.

– Я беру только исландскими кронами!

– Ну, это равняется семидесяти исландским кронам. Этого будет достаточно?

– Никоим образом, – ответил Копп.

– Сколько не хватает? – спросил кот.

И снова торговец замялся. Цена 33 форели за 1 кг муки была назначена при особых обстоятельствах, в некоем потрясении ума, на самом северном берегу, в двух днях пути от прилавка, вдобавок, за неделю до Рождества. К тому же все происходило на улице, да еще при пяти градусах мороза. Все эти факторы оказали неоценимое влияние на ценообразование и способствовали повышению стоимости.

Сислюманн разрубил этот узел, прибавив новый факт:

– Также за ним остался другой долг – старый тюремный приговор за кражу снеди, приравненный к двадцати семи ударам розгами.

– Он задолжал вам двадцать семь ударов розгами?

– Да.

– Может ли он погасить эту задолженность здесь и сейчас?

Борода вокруг рта сислюманна пошла волнами, глаза горели презрением. Что это еще за шутки? Капитан следил за ними из своей шотландской дали, и от этой бессмыслицы его начало клонить в сон. Как бы мало он ни понимал этот язык, он все же прекрасно понял, что дело здесь совершенно непонятное. Три килограмма муки превратились в девяносто девять форелей, которые стали двадцатью британскими фунтами, а те, в свою очередь, превратились в двадцать семь ударов розгами. Он собрался было сделать шаг вперед и разрубить этот узел, как сислюманн проглотил свой гнев и выдал финальный трубный аккорд:

– К тому же этого человека подозревают в убийстве пастора.

Агент вытаращил глаза, переводя взгляд то на Эйлива, то на сислюманна. А последний повернулся к капитану и обратился к нему по-английски, но слова «подозреваемый» не знал, а сказал только *murder*, а затем *a priest*. И все это сопровождалось таким серьезным выражением лица, что капитан переспросил:

– Этот человек убил пастора?

Сейчас все громы небесные пали на одну голову: отец-одиночка, у которого все имущество в кармане, а ребенок на руках, он должен торговцу, воровал с голоду и подозреваем в убийстве священнослужителя. Против такого перечня Эйлив стоял как истукан (а над его головой орали чайки, а майский холодок хватал за плечи и ляжки), и он одновременно был преисполнен раскаяния и праведного гнева, отягощен чувством вины и разгневан несправедливостью этого мира. Ему захотелось встретить этот момент криком – воплем, похожим на предсмертный крик хищника, но вместо того, чтоб поступить так, он лишь бросил взгляд на заснеженные горы за Фагюрэйри, их отроги, плоскогорья, все эти части тела своей родины, которые были знакомы ему лучше, чем чресла собственной супруги. И вот, когда этот темноглазый человек взглянул на эти многосугробные кряжи, он наконец осознал свое место в мире, понял, что он приговорен, что он с самого начала приговорен, не людьми, а страной, этой окаянной ураганной страной, что он виновен, а виновным его признали эти горы, одновременно и следователи, и судьи, и само наказание.

Он был простым исландцем.

Эйлив шагнул вперед из толпы, поднялся на палубу, предавая себя в руки торговца, сислюманна и полицейского, однако этим самым шагом задал самому себе тринадцать вопросов, которые все были разными вариантами одного и того же: «Что я, черт побери, делаю? Я, такой большой человек, склоняюсь перед мелюзгой, унижаю себя перед моим народом и иностранным господином морей! Я шагаю навстречу разверстой могиле...»

Он склонил голову перед властями, закрыл глаза и увидел перед собой огромные пароходные трубы на земле, а на одной из них – Геста, который раскачивался в дыму как на качелях.

И капитан, большой Адамс, наконец устал от всех этих разглагольствований и не стал делать замечания, когда Эйлив оказался за бортом, и его увезли на лодке прочь от парохода вместе с его любимым торговцем и драгоценным сислюманном.

Высокий человек сидел как приговоренный в сислюманнской лодке и по-прежнему не сводил глаз с седовершинных гор за Фагюрэйри. Никогда они не казались ему столь прекрасными – и никогда раньше он не испытывал к ним ненависти.

Его земляки выстроились вдоль борта «Мэйфлауэра», любопытные головы в шапках и шляпах, и наблюдали, как лодка остановилась посреди Лужицы, и там началась какая-то возня. Через несколько минут высокого человека повезли к одной шхуне, стоявшей на якоре в тихой гавани, ближе к берегу, – двухмачтовому палубному кораблю типа галеас. Шотландским глазам представилось, что это местное полицейское судно, которое сейчас повезет убийцу на юг, на встречу с правосудием. А многие из переселенцев за океан знали, что это знаменитая «Фагюрэйри», одно из акулопромышленных судов Коппа. Лодка скрылась за форштевнем шхуны, но вскоре появилась снова, уже без Эйлива.

Люди, к своему удивлению, заметили, что торговец держал ребенка.

## Глава 24

### Акулье сердце

«Акула!» – крикнул Гвенд рядом с Эйливом, и их товарищ, подручный на судне, подскочил к нему и начал вместе с ним тянуть. Они работали слаженно как один человек: рука одного держала снасть, в то время как рука другого втаскивала, и так рука за рукой. Качка была сильной, а на востоке набухала чернота, но они наконец набрели на акулу в море, и сейчас надо было приложить усилия и не оплошать. Корабль стоял на каменном якоре, который зацепился на глубине 200 саженей, так что судно удерживалось прочно, форштевнем к мокровею, без усталости пронзая белопенную волну своим бушпритом. Старшой – широколицый прищуренный малый, Свальбард Йоуханссон с Лодочного берега, стоял у руля и следил за штагами, и реями, и линиями, а паруса они все давно свернули.

Сам Свальбард был слишком поглощен мгновением собственной жизни, чтоб увидеть взглядом наших – более поздних – времен то, что представало перед ним, а это было грандиозное зрелище: дневной свет просачивался из белесого облака тумана впереди, а потом сверкал на промоченной волнами палубе, проглядывающей сквозь мачты, перекладыны и реи, ванты и штаги – голые ветви того единственного вида «деревьев», который растет на море, а сильнее всего палуба сверкала, когда корабль «нырял» носом, образуя угол отражения с небом, а затем форштевень разрезал волну, и через него прокатывался шквал, солено-белая мокреть тяжелого сорта – а затем корпус вновь принимался взбираться вверх по водяной горе. На ее серо-зеленой вершине реяли белые гривы, словно снег, вихрящийся над ледником, а потом сугроб раскалывался, и волна обрушивалась на саму себя и на посудину. Но перед этим наклон становился таким опасно крутым, что маленькому мальчику, живущему в душе каждого капитана, казалось, будто он ведет свое судно напрямик в небеса, и это чувство было невероятным, потому что у правого борта четверо человек стояли на коленях у своих снастей, тянувшихся через релинг вниз, в самые глубины земные. Впрочем, один из них уже поднялся, и подручный Халльдоур пошел помогать ему, так как помимо капитана на палубе было пятеро человек, а шестеро – в трюме, объятые сном матроса во время большой качки: этот сон сладостнее всего на земле, да вот пробуждение от него слишком быстрое. Здесь по морю носились – спящие и бодрствующие, отсыревшие и до нитки промокшие, сильнорукие и мужественные – двенадцатеро исландских сверхбогатырей. Из всех героев моря эти были самыми великими: акулья эпоха в Исландии была вершиной в истории подвигов на море.

Ни до того, ни после того люди не выходили на открытых судах на морские просторы, чтоб помериться силой с таким злым и коварным существом, как акула. И хотя сейчас корабли по большей части оснащены палубами, защиты от холода и сырости на них по-прежнему мало, да и сами плавания не менее рискованные. Из тех 765 акулпромышленных судов, что выходили в море из рыбацких поселков Исландии, 345 тонули или, как тогда выражались, их «на скалы наносило».

Эйлив стоял на коленях у самой передней акулоловной снасти, в заемных кожаных штанах, двойных рукавицах и почти не годной кожаной куртке, со слишком короткими для него рукавами. При каждом шквале морской холод сковывал его по рукам, как наручниками. Видимо, не существовало той овцы, у которой ноги были бы достаточной длины, чтобы выкроить рукава для такого верзилы. Одну руку он держал за бортом, сжимая натянутый как струна трос, чтобы почувствовать, когда Серая начнет ощупывать наживку или когда ринется на нее и зацепится пастью за «тягалку» – так назывался толстый крюк на акулу.

Его товарищи продолжали рьяно тянуть, Гвенд и хуторянин Халльдоур, подручный на этой вахте. Он помогал всем, дородный выходец из Хунаватнссислы с бакенбардами, сужающимися книзу, расторопный и на удивление крепкорукый. При такой качке работа была нелегка,

но вот наконец показалась петля, а затем из волн вынырнуло искусно сработанное каменное грузило. Сейчас двоица пододвинулась к вантам, в сторону тали, но тут на корабль налетел внезапный порыв бокового ветра, и юный Гвенд поскользнулся на палубе, упустил трос и ударился правым бедром об один из ящиков для печени. Но Халльдоур успел удержать трос, пока мальчик не прихромал к нему обратно, весь разбитый, и они вдвоем вытянули это чудище из моря. Промоченная морем длинная борода хуторянина снова стала развеиваться на ветру, словно набрякший от дождя шарф. Едва из воды показалось белое акулье рыло, подручный оставил Гвенда одного держать трос, а сам голыми руками схватил поколюкуи всадил глубоко в акулий хребет. Из-под оружия хлынул алый закат морской зверюги. Затем стали ждать возможности зацепить за акулу крюк тали. Это поручили Гвенду, и ему пришлось вытянуться так далеко за борт, что Халльдоур зажал одну его ногу между своих, чтоб мальчик не кувыркнулся в воду, если на корабль налетит еще один порыв ветра. Гвенд был отчаянной головой, но он пока только учился – этот восемнадцатилетний рыжий отпрыск деревни. Хуторянин Халльдоур обещал его матери привезти его назад. Эйлив смотрел, как паренек ловит нижней губой морскую воду, беспрестанно струящуюся вниз по его лицу, а затем сплевывает – воплощенная сосредоточенность! Его верхнюю губу украшал тоненький светлый пушок.

После нескольких попыток ему наконец удалось зацепить крюк за челюсть акулы, и ее наполовину вытянули из моря на тали, после чего мальчик взял резак и сделал на брюхе акулы горизонтальный надрез, а затем – надрезы вниз по обеим его сторонам. Тогда занавес, скрывавший печень, упал, и ее извлекли из чрева чудовища голыми руками, – ведь от этой ужасно ядовитой туши брали лишь ее одну, именно за ней и гонялись рыбаки; печень давала людям рыбий жир, превращаемый в золото. Он освещал улицы Британских островов и Дании в придачу, и стоило приложить усилия, чтоб все эти почтенные люди могли по ночам добраться до дому, пьяные в стельку, а может, и избитые до потери разума. Вместилище этого золота висело рядом с вместилищем желчи на крепкой жиле, и сейчас оно попало в руки Гвенда – это сверхтяжелое чудо, такое блестяще-скользкое. Он подождал, пока качка поможет ему перенести ее через борт, а затем обрушил ее в ящик для печени, и она шлепнулась, ударившись о его внутреннюю стенку и при этом слизисто поблескивая.

Эти исландские вояки жаждали только сердца своего врага, а остальное вышвыривали; и вот теперь тушу сбросили в море. Впрочем, иногда из Серой также вырезали и так называемый глоткожелудок, если он был достаточно жирный – на приманку, ведь самым большим лакомством акулы считали как раз нутряной жир собственных сородичей. И если людям не удавалось быстро и хорошо зацепить чудище, бывало, что акулу могли извлечь из пучины уже объединенной: стоило той принять вертикальное положение, ее же товарки улучали момент и нападали на нее. Порой от акулы тогда оставалась одна лишь голова: это называлось «улов прощелкали». Тогда эту голову поднимали на крюке, а потом наживляли на него же в качестве приманки и опускали в море. Бывало, что «прощелкивали» и два раза подряд: тогда над крюком висели две головы, а внизу за него зацеплялась третья акула – уже целая. Она поднималась из пучины словно зубастый, дважды венчанный епископ в двух мордоподобных митрах: одной для папы, другой для Лютера.

«Но обычно наживкой служила либо тухлая конина, либо соленое тюленьё сало; все это нанизывалось на крючок по кусочкам, по очереди: сперва тюленина, за ним конина, за ним опять тюленина и так далее; под конец весь крюк становился полосатым от светлых и темных кусков, а делалось это, чтоб потешить взоры Серой, ведь для нее блюда надо было сервировать непременно красиво. В рассол для тюленины добавляли ром, чтоб жир не прогоркал, но пах сильнее», – так пишет в своем фундаментальном труде о предводителе акулодобытчиков Саймюнде Саймюндссоне его увековечиватель Хагалин. Эти два деликатеса покачивались в трюме в двух гигантских бочках из-под керосина, и коктейль из тюленины моряки прозывали «блюёк». Того, кто отпивал его, немедленно постигала морская болезнь. Эта бочка рома в

трюме и являлась причиной того, что на промысел акулы не выходили без полного бочонка бренивина. Корабельщики считали недопустимым, чтоб добыча пропускала рюмашку, а они сами неделями маялись на море всухую.

Ветер все крепчал. И сейчас корабль пронзал бушпритом волну за волной, а у левого борта к тому же показались льдины: они вошли в зону дрейфующего льда. Шел седьмой день мая месяца, и такой весенний лед на море назывался «майским». Надо было срочно поднимать якорь, пока он не оборвался, и ложиться в дрейф, хотя акула все еще клевала. Новичок у передней снасти, тот, длинный, которого хозяин определил на корабль перед самым отбытием, сейчас тащил трос. Силы он был недюжинной, а еще хорошо умел обращаться с тросом и не нуждался в помощи подручного даже в самый первый момент – а ведь тогда трос тяжелее всего, потому что тогда Серая на своем поле: бьется и не желает покидать глубины. Но чем выше ее поднимали из моря, тем она больше слабела и, вытащенная полностью на воздух, уже не шевелилась совсем, она стала уже безвольным инструментом, добровольно умершим гигантом. А потом подошел хуторянин Халльдоур со своей поколюкой и погрузил ее в хребет белобрюхой Серой, которая со свистом извергла свою кровь, словно кит – фонтан. А затем они подняли ее повыше – акула была такая крупная, каких им уже давно не доводилось видеть, а у Эйлива это была первая акула за более чем десять лет. Он подивился, что такой король так легко расстался со своей короной, а потом позволил так далеко вытащить себя за пределы королевства, чтобы там его проткнули. Эйлив занес лезвие и вырезал у короля обложенное печенью сердце, а затем вырвал его из грудной полости одной рукой. И пока он так стоял, держа в правой руке это сердце – гигантское, как у тролля, пульсирующее жизнью, которой оно наделяло тело, а в левой – лезвие, по носовой части корабля прокатилась волна и надолго скрыла его от взоров экипажа. А затем он появился вновь: стоя на том же месте с теми же предметами в руках: сердцем и копьем, не опираясь ни на борт, ни на штаг. Затем он – с мокрозубкой медленностью – потянулся к ящику для печени, сбросил в него драгоценную добычу, а свое лезвие прислонил к открытому люку. И тут неожиданно-негаданно в его голове возникла не картина или фантасмагория, а стихотворные строки; его глаза начертали их, пока он мокромедленно окидывал взглядом корабль, от капитана Свальбарда до конопатого Гвенда и хуторянина Халльдоура, стоявших рядом с ним:

Бьет и на море, бьет и на суше,  
боец никогда не насытит душу.



## Глава 25

### Дверная ручка

Маленький мальчик в большой кладовой. Вот удача так удача. Тут варенье пролили, тут маслом капнули, а тут кофтоsocka от чейносьйива... И даже сахаринки на полу, по которым я ползу, и мешок с мукой на полке стоит открытый, и молоко в блюдечке на пороге, или оно для Клеепаты? Так она из-за этого меня вчера поцарапала? А ладно, все равно попою.

– Гест, родной, в кладовку ни-ни! А ну, вылезай! И не пей кошкино молоко! Вот что теперь мама скажет? Мама рассердится, ух, как рассердится. Ну, оп-па!

Это Малла, экономка. Она вечно в дырявых носках; я вижу эти дырки, а другие не видят, они на подошвах, – а вот теперь она берет меня на руки. Я не знаю ничего лучше, чем запах, который исходит от нее, он даже приятнее, чем от лбинчиков, которыми меня угостили в Перстовом в тот день, когда умерла мама. Что это за запах, я не знаю, но думаю, что это пахнут ее веснушки. А вот она закрывает кладовую и спускает меня с рук в столовой, она там накрывает на стол, вечно чем-то занята. Все остальные еще спят, только Купакапа не спит. Он вышел, чтоб пописать деньгами.

Здесь полы везде широкие и просторные, как гладь моря у нас во фьорде, только гораздо ровнее, и я могу уползать и убегать далеко, насколько хватает глаз, из вот этого леса ног под столом в столовой, и в другую комнату, где ковер – а он мягче, чем даже земля, которая была там, где мы жили с Хельгой-телкой. Я это помню, хотя и сам того не знаю, потому что я ребенок, и мне не нужно знать всего, что мне известно. А если я заберусь на стул, то увижу в окно все дома и Лужицу – они стоят вокруг нее и отражаются в ней. Это все под стеклом. Я могу постучать по какому-нибудь дому, лизнуть его – но съесть его мне никогда не удавалось. А мне так хочется вон тот большой белый под травяным бережком.

– Это фсё Гетту!

Ну вот, пришла Клеепата, мы с ней в этом доме – напольные обитатели, а все остальные живут там, вверху. Ее иногда берут на руки, но меня все-таки чаще, я им нравлюсь больше, да к тому же со мной и веселее, я могу их рассмешить, а еще я выгляжу не так по-дурацки, как она: без одежды и волосатая, да еще с этим хвостом, – а еще она ползать совсем не умеет, а ходит на руках и ногах, как обезьянка из книжки, которую мне читала Тедда. А еще кошка довольно злая и очень-очень глупая. Прыгает она, к примеру, очень высоко, зато никогда не облизывала дверную ручку, ту, позолоченную, в гостиной, а ведь умеет запрыгивать и на стул, и на этот, – забыл, как называется.

Дверная ручка – самое лучшее в этом доме. Она из золота, вкус у нее золотой, я бы ее так весь день и облизывал, но мне говорят – нельзя: то ли потому, что она грязная, то ли потому, что она станет грязной, если я ее оближу. Я этого пока не понимаю. Но подозреваю, что на самом деле они ее просто хотят себе. Вечерами, когда я уже сплю, они все наверняка спускаются в гостиную и по очереди лизут дверную ручку. Я в этом уверен. Иначе они бы себя так не вели. Все только об этой ручке и думают. Все-все, кроме Клеепаты и Купакапы. Он оближивает только фигары, которые прячет в специальном фигурном ящике в ползательной гостиной. Лижет, лижет – пока от них дым не повалит. Тогда он исчезает за тучей – совсем как гора, которая возвышается над домами.

Ага, вот она опять пришла. Сейчас меня покормят. Она уносит меня в кухню. Меня не кормят со всеми вместе. Меня кормят отдельно. Мне дают осянку с молоком, а иногда еще и хлеб-сосушку. Он вкуснее всего. Ух ты, вот сейчас мне его дали. Я вынужден прерваться. Больше пока говорить не смогу. Гетт куффаеть.

## Глава 26

### Пережидая шторм

И волны все бьются и бьются, ибо море разбивает все, что само же породило. Этот вал не ведает преград и не склоняется ни перед чем, кроме берега.

Они продрейфовали ночь, и вот их корабль отнесло к кромке льда на западе. Из-за сопровождавшего их густого снегопада штурман не заметил ее вовремя: волна вознесла штевень на майский лед, и корабль застрял в нем, а его корма так и продолжала плясать в волнах прибоя. Это разбудило шкипера, а вместе с ним и всех спящих, и он приказал людям спуститься на лед. Все вместе навалились на штевень и спихнули оттуда «Фагюрэйри». В результате корпус корабля встал параллельно кромке льда и до утра колотился об него. Волнение на море и до того было нешуточным, а сейчас дело и вовсе приняло серьезный оборот. Никому больше не удалось вздремнуть: прибой беспрестанно бился в изголовье их ледяного ложа, твердого как стекло. Гвенд изрыгнул на белоснежную гладь несколько струй кофейного цвета.

С рассветом непогода улеглась, ветер переменился. Они развернули отдельные паруса, и таким образом им удалось отогнать корабль от кромки льда и развернуть снова на восток, и они пошли в бейдевинд. Печенью было наполнено всего четырнадцать бочек, – а Свальбард не намерен был возвращаться во фьорд с такой мизерной («только дно закрыть») добычей. Он сам встал у руля, потому что судну постоянно приходилось огибать ледяные горы, иные из которых высились наравне с кормой. В искусстве лавирования по волнам с ним могли соперничать немногие.

Когда они выбрались из наибольшего скопления льдов, паруса спустили, корабль встал на якорь, и настало время наживлять приманку. Но Серая клевала плохо, и вскоре ветер опять начал крепчать. Акулешка уже два часа как не клевала, заново задул мокровой с севера: полюс расперделся с совсем уж небывалой силой. Буйный студеный ветер в мгновение ока запанцирил в лед весь корабль, и он заскользил на встречу со своей Серой белым аки куропатка. А когда все увидели, что на севере на темно-сером блюдечке с ледяной каемочкой им предлагают еще больше майского льда, то решили убраться подобру-поздорову. Снасти для лова убрали, паруса подняли – и поплыли к земле попутным морозным ветром.

Эйлива послали в носовую часть оббивать обледеневшие реи; даже парус фок – и тот превратился в лист белого металла. День клонился к вечеру – и человек на короткий миг замешкался, глядя, как вздымается земля – с этого ракурса такая крошечная, лежащая низко у горизонта, черные серосугробные горы, едва высовывавшие макушку из моря, – казалось несомненным, что за ночь уровень воды повысился на тысячу метров, и землю всю залило этим всемирным потоком, из вод которого сейчас виднелись лишь самые высокие пики.

Майский вечер был светлым-светлым, и ближе к земле глаз местного уроженца мог различить в открывающемся пейзаже признаки весны: их привычный глаз считывал из того, как лежат самые крупные сугробы. Но Эйливу было не до весны: он вместе с товарищами продолжал оббивать лед со скованных морозом релингов, а думал о Краснушке из Мадамина дома: пылающий румянец ее щек согревал. Потом он еще думал о своем сыне (интересно, Копп сдержал слово?), и о Мерике, и о пасторе, которого он не убивал, а ведь так хотел, и сейчас решил сознаться, что убил. Мечта о Мерике умерла, но осталась другая: отправиться на юг, в теплую удобную каталажку.

Из-за ближайших водяных гор порой показывались другие шхуны, которые затем уплывали в долину между волнами и скрывались за следующим валом. Не только их корабль шел в убежище в Сегюльфьорде.

Ветропускание полюса сопровождалось ненастной мглой, которая накрыла их до того, как им открылся фьорд, и Свальбарду пришлось применить всю свою моряцкую смекалку,

чтоб провести судно мимо Сегюльнесской банки, где его первый начальник окончил свои дни у берега, как носимое волнами бревно, и целую неделю колотился об утесы, – нельзя было и близко подходить к Концеземельским скалам по правому борту: эти скалы переломали кости троем его землякам.

Пурга все крепчала, горы исчезли из виду. И все же природа была не абсолютно жестока, потому что разработала собственную систему аварийных сигналов: края этого серо-трепещущего поля были отмечены белыми полосками прибоя. Наконец чуть-чуть развиднелось, и взорам открылась Сугробная коса, точно гладкая белая взлетная полоса более поздних времен посреди фьорда, и ни дома, ни церкви нигде видно не было. Корабельщики плыли – летели на большой скорости, подгоняемые силой ветра, мимо оконечности косы в гавань, где лютовал один лишь ветер, без моря.

Сквозь диагональный снегопад они заметили коллег: вот здесь стоит «Слейпнир», а вон там, подальше – неужели жители Сегюльфьорда – лодка Кристмюнда из Лощины? Затем во фьорд вошли еще другие парусники, и к полуночи весь североисландский акулопромышленный флот прибыл в убежище.

Едва показалась Сугробная коса, Эйлив спустился с палубы и сейчас полулежал в матросской каморке на своей койке, которую делил с рыжим Гвендом, и жевал сушеную рыбу с маслом из своего рундука – провиант, который собрал для него Копп и подкинул на борт. Вокруг дремали его товарищи, изработавшиеся из-за бессонных ночей и непогоды, слегка пришибленные зловонным подпалубным воздухом: смрадом, представлявшим смесь чада из камбуза, вонь из жиротопни, тухлятины рассола и кислятины человеческих выделений. Эта смесь бывала такой ядреной, что медные монеты за сутки покрывались патиной.

С трапа, ведущего в кубрик, донеслось, что после таких бурных дней не худо бы заглянуть в корабельный бочонок: истории порассказывать и, может, выговорить себе женщину. Этакое старое моряцкое умение: когда пятеро или больше безбабных моряков в кубрике начинали подолгу болтать всяческие скабрёзности, как следует проспиртовавшись и провоняв, в воздухе между ними будто бы воплощалось голое женское тело, так называемая воздушница, и висела она в пространстве горизонтально под лампой, и свет струился вниз по животу, и далее – по чреслам и ляжкам. Венерин бугорок у этих воздушниц всегда был высоким, и на нем светились публичные волосы, блистательно манящие, а из заплаты между ног прямо на стол точился по капле рыбий жир сладострастия. Тогда некоторые подставляли под эти капли свои кружки, и женский сок попадал им в бренивин, – а другие тем временем давали своим истомившимся взорам отдохнуть на мягких подушках, где на другом фланге покачивались сосцы. А вот лицо воздушницы обычно было в тени – она запрокидывала голову от истомы, – и каждый был волен дорисовывать туда милое себе лицо по желанию, – то было виртуозное искусство, да и выдумывалось на редкость удачно. Бывало, у иного воображение так распалось, что он, ослепленный похотью и попойкой, поднимался с места и расстегивал штаны, намереваясь вскарабкаться на воздушницу. Тогда остальные возмущались и привязывали восставшего к кровати. На этом все действие заканчивалось.

– А вот сейчас Копп влез на свою, в своем засушенном доме...

– На пересохшую скважину своей супружницы!

– Ха-ха-ха!

– Думаешь, у него на нее встанет, она же стала совсем как остов?

– А разве у него не все время стояк?

– Ребята... – попытался вставить Свальбард и зажмурил глаза в широкой гримасе.

– Ему, небось, лебедкой свой струмент подымать не нужно, у него же небольшой!

– Ха-ха-ха!

– А ведь та, которая у него была когда-то, Дина – она была куда как приятнее!

– Ага, она и танцевала, лебедушка эта, и щебетала...

- Эйки с хреппа ей вставил за домом.
- Эйки с хреппа?
- Ха-ха-ха!
- Для него это была единственная возможность открыть у купца вклад!

И сейчас смех грянул с небывалой силой, щербатые зубы заблестели в черноте, и свет омыл морщины от улыбок на этих снегом исхлестанных и морем битых лицах, похожих то на старые кожи, то на высушенную рыбу. И напрасно рассказчик пытался внести в остроту исправление: этот «вклад» имел место еще до того, как Ундина вышла за Коппа. Кажется, здесь проходили самые веселые в этом фьорде посиделки в каюте. Старшой Свальбард сидел на китовом позвонке у дверного проема, по-начальнически прихлебывая пунш, с лицом, ясно показывающим, что он держит винный дух в узде: так он никогда не раздражался смехом, а просто улыбался в блестящие усы. И вот сейчас он решил подставить этой шутке подножку.

– Ребята, а обо мне бы вы такого не говорили, если бы я сидел в носовой части и читал свои «Кентерберийские рассказы»?

– Почему же? Давай ты уйдешь, и мы тогда начнем?

Они добродушно рассмеялись.

– Просто, по-моему, не подобает отзываться так о нашем добром хозяине и судовладельце.

Вся каюта замолкла, ребята промекали что-то и пропустили по глотку: этот чертов мужик несносен! Но вот толстощекий хуторянин Халльдоур повернулся к Эйливу и задал вопрос от лица всего экипажа:

– Ты, вроде, во Мерику ехал, да, Эйлив? Мы так понимаем, ты уже загрузился на пароход? Почему же ты бросил свою затею? Ты дал им себя забрать? Почему решил не ехать?

– Исландия – это преступление.

– Чего?

– Мы все связаны общей виной.

Это показалось им забавным, и они громко захохотали, а их разум в это время переваривал значение этих слов. Что он имел в виду? Этот Эйлив, он и впрямь чудной!

Посиделки рассосались: шкипер вернулся в свою каюту, остальные отрубались там, где сидели, головы одна за другой склонились на плечо, словно погасшие фитили.

Эйлив до самого утра лежал и думал, а потом вылез на палубу. Оледенение, охватившее корабль, стало чуть меньше, но на досках под ногами местами был каток. И все предметы в панцирях. Какая скользкая весна! Он остановился над люком, ведущим в каюту, и снова взглянул на фьорд – свой распроклятый родной фьорд. Ведь он с ним распрощался раз и навсегда. Все мы хотим в жизни далеко пойти, но связующая нить у всех разной длины. Эйлив думал – он свою перерезал. А она на самом деле превратилась в железный хвост, торчащий у него позади. А фьорд, как всегда, был сплошным гигантским магнитом-подковой.

Утро взмыло из пучины, словно серая уродливая гренландская акула. Волнение в гавани было лютым, у середины горных склонов висели мокрошерстые облака, но «пока что без осадков», – если воспользоваться самым исландским из всех понятий, которое пригодится любому, кто в Исландии выходит посмотреть погоду на улице и пытается описать словами это вечное промежуточное состояние. Это понятие на самом деле означает, что десять минут назад был ливень или град, а сейчас он перестал, но через несколько минут может пойти дождь, снег, а то и вовсе дождь со снегом. И конечно, едва ли другие слова лучше передают тот самый исландский полуоптимизм-полупессимизм, чем «пока что без осадков». Едва ли найдется выражение, с такой точностью описывающее и прошлое, и настоящее, и будущее.

Он увидел. Что у правого борта хлопочет Йоун-штурман: свесившись через борт до половины, пытается совладать с багром. Эйлив подошел к нему. Возле бока корабля на волнах мотался длинный ящик, и штурман пытался зацепить его канатом.

– Что это?

– Ох, не знаю. Наверно, норвежцы какие-то деревяшки обронили.

Рослый пособил товарищу, и общими усилиями они зацепили за ящик веревки и крюк, а потом подняли его на борт талью для акул. Ящик был простой работы, а его крышка расколота в середине по всей длине. Но прежде чем штурман Йоун вскрыл его, просто разведя обломки по сторонам, – до Эйлива дошло. Он узнал работу столяра, вспомнил звук, с каким раскалывалось дерево...

Останавливать штурмана он не стал, но предоставил ему открывать ящик в одиночку: пусть у него дух перехватит, пусть ему тошно делается. А Эйлив не дрогнул при виде омытого морем лица смерти, ведь он и сам был мертвец. Лицо Гвюдни было его отражением.

## Глава 27

### Кофа!

В то утро, когда его отец и мать неожиданно-негаданно повстречались на палубе корабля посреди Стикса, Гест выпил свою первую чашку кофе в доме супругов Коппов, что взбудоражило и веснушчатую экономку Маллу, и сестер Сигрид и Теодору, эти две тотчас же помчались с новостью по всему дому – только длинные светлые волосы закрылатились у щек да белоплотняные юбки зареяли: «Папа! Гест пил кофе!» Торговец, сидевший за письменным столом с законным видом на Лужицу, только что вскрыл разрезательным ножом весьма угрожающую долговую яму, которую ранее пропустил, и ему не удалось скрыть от дочери страх, наполнивший его глаза.

– А? Что ты сказала, родная?

– Гест попил кофе!

Волшебные слова достигли ушей торговца и подействовали на него таким образом, что он отодвинул нехорошее письмо подальше на стол и поднялся с сиденья. За несколько недель мальчик достиг в его сознании такого положения, что ради него он был готов задвинуть почти все на свете, а сейчас ему нужно было еще и ради своей Тедды выйти из кабинета и увидеть лицо этого обворожительного нарушителя, этого светлоголового жизнедарителя, невинного радостеподавателя.

– Что сделал Гест?

– Он забрался на стол и допил кофе из твоей чашки, – объяснила Малла, как следует утирая кофейную бороду ребенку, которого держала на руках.

– Кофа – нефкусна! – сказал Гест и помотал головой, а вся семья рассмеялась счастливым смехом, в котором также слышалась радость по поводу самой способности рассмеяться. До того здесь не смеялись годами.

Вначале торговец воспринимал этого грязного ребенка лишь как побочное следствие полного взыскания долга со своего должника – что было исключительно важно, просто необходимо, – а иначе что же начнется в стране, если все начнут сбегать от больших долгов и наказаний в другие, менее важные части света? И ладно бы еще только должники – так ведь и воры, и убийцы – убийцы пасторов! Из этого негодяя нужно бы извлечь как можно больше пользы, прежде чем его примет тюрьма: сислюманн говорил, что дело будет рассмотрено к осени.

Когда нищий мальчишка, сын убийцы, Гест Эйливссон, впервые оказался у него на руках несколько недель назад на Лужице, господин Эдвальд Копп даже не стал бы засчитывать его в качестве первой выплаты вместо пресловутых 99 форелей: тогда, в лодке, идущей в гавань, он и держал его так, как щеголь держит рваный угольный мешок. И все же это тотчас затронуло в нем необычную струнку, тон которой был жадным и ровно в той же степени – отеческим. Каким-то непостижимым образом мальчик мгновенно установил с ним контакт, светлым, как волна, майским вечером его большие серо-голубые глаза тотчас крепко присосались к его собственным карим зрачкам. Однако на верхней полке в сознании Коппа уже лежало решение в том духе, что ребенка он пристроит в семью приказчика Эгмюнда. Эгмюнд сделал бы ради него что угодно, а его жена Раннвейг по сути была матерью-наседкой, и один лишний рот не сильно разорил бы это обтерханное, но в остальном отличное гнездышко.

И все же нельзя было отрицать: в этом ребенке было что-то особенное – как он смотрел на тебя, как улыбался, сверкая глазками, и как он отнесся к исчезновению своего отца, с выдержкой, напоминающей реакцию прагматичного политика, которому вообще-то жаль законопроекта, отклоненного парламентом, но он решает, что лучше забыть его и обратиться к следующему делу. Каким-то подобным образом Гест и обратился к пышноусому кареглазому человеку, который пах как кухонный дым, только как-то по-другому, и сидел под ним в лодке

сислюманна. Тогда Копп в конце концов усадил мальчика – этот мешок с углем – к себе на колено, и оттуда мальчик взирал на него снизу вверх, пока блюстителю порядка перевозил их с сислюманном через Лужицу. В глазах ребенка не было отчаяния, только надежда. Однако каким-то неувимым образом было ясно, что мальчик вполне отдает себе отчет, что больше не увидит своего папу. Ребенок принял эту кончину отца со спокойствием старца: будь что будет! Того, кто не изведал в жизни ничего, и того, кто изведал все, объединяет бесстрашие, доступное лишь в крайних точках жизненного пути. А в середине поля люди бредут вперед, в состязании горя и радости, по колено в грязи, и отмечают победы и поражения горьким плачем или раскатистым хохотом.

Похоже, двухлетний мальчуган почувствовал, что ему уготована лучшая жизнь под этой темной навощенной бородой, чем под знакомыми седеющими клочьями волос.

Новая глава, новое приключение!

По крайней мере, он поднял сильный рев, когда красивый, знатный и пышноусый Копп попытался передать его носатому береговому мальчишке, чтобы тот добежал с ним до Эгмюндова дома. При этом ребенок крепко схватил торговца за бороду и не отпускал. Вот откуда, черт возьми, у такого маленького такая хватка? Торговец морщился от боли и хотел бы поскорее отделаться от этого грязного малявки, сына убийцы.

Но через некоторое время тот же мальчишка-носатик с тем же малявкой стоял на высоком крыльце дома торговца и сообщал, что у Эгмюнда дома никого не было, во всяком случае, никого старше семи лет: у них там младший обжегся, и родители повели его к врачу. Копп кое-как согласился, хотя и фыркнул, и взял этого Геста к себе на одну ночь, сказав, что наутро его отведет туда Малла. Но едва ношу перенесли через порог, тут же почувствовал: мальчуган пустит в этом доме корни так же быстро, как кошка выпускает когти. Так и вышло: через несколько секунд прискакали его дочери и давай нахваливать мальчика, качать его на руках и смеяться. Торговец стоял поодаль и наблюдал, как Сигрид и Теодора растворяются в этом большом белом широком детском личике с такими большими серо-голубыми вопрошающими глазками, которые зажглись словно две сияющие цветные сказочные луны на темном небосклоне этого дома и подняли их души, словно прилив. Гест появился здесь как раз в нужный момент, именно он и был нужен этой семье – скукоистребительный комочек радости, который никому не желал зла, а себе желал всего.

У супругов Коппов родились четыре дочери, две из которых умерли еще в колыбели, а две выросли. Торговцу, конечно же, хотелось сына. В ливерпульском порту он много лет назад видел вывеску: “Langley & Sons” – и пообещал себе, что такая же надпись однажды встретит всех приплывающих во фьорд: «Копп & сыновья» – написанная громадными черными буквами на фасаде большого склада, который он задумал построить на самой оконечности косы. Но прибавлений в его семействе, очевидно, больше не предвиделось: схоронив двух детей, фру Ундина отлучила его от своего ложа.

Ее тело, судя по всему, не было расположено к дальнейшему плодоношению. В возрасте 35 лет она увяла словно растение. В этом было что-то ненормальное; два «тик-так» смерти тронули ее морозом и бледностью. Ее формы, прежде вызывавшие зависть, превратились в скрипучие прутья корзины. Она перестала чувствовать аппетит: к еде, к мужчине, вообще к чему бы то ни было. В отличие от нее, супруг с годами, напротив, все ширился и сейчас накопил себе на брюхе порядочную прослойку – а все благодаря своему суровому подходу к бедноте. Хотя он был на добрый десяток лет старше жены, в нем было больше молодого задора, больше жажды жизни. Копп был человеком в расцвете сил. Торговля и рыбный промысел шли хорошо, планы большей частью осуществлялись, уважение к нему по-прежнему росло, что он и сам чувствовал, когда гулял по городу и ловил на себе то тут, то там взгляды, даже от самых юных барышень. Единственным, что омрачало его жизнь, было состояние супруги, ее безрадостность и молчание. Казалось, смерть объявила ее своей собственностью, но решила оставить на потом.

Супруги больше не соприкасались друг с другом, и виной тому был не только горестный холод, исходивший от жены. У Коппа не осталось к ней ни малейшего физического влечения, сколько бы он ни искал в самых дальних закоулках своего сознания. Его душа уподобляла ее бедренные кости углам стола, ребра – стиральной доске, грудь – краю полки. Его подсознание сейчас заполняло другое тело. Он порой слышал знаменитую строчку «Та единственная мягкость, что плоти твердость придает» и видел перед собой будоражащие контуры бывшей экономки, пышнотелой Октавии Пьетюрсдоттир с острова Хнисей, которую он обрюхатил на чердаке своей лавки и услад прочь, пока ее положение не стало заметным. О, какое тело, какой шар наслаждений, даже в свое отсутствие оно зачаровывало его – через моря и страны. Экономка отправилась на остров рожать, но потом ее вновь отбросило с него, ребенка она отдала, а потом скрылась из виду на Западе. Копп разыскал этого ребенка – девочку – и отдал на воспитание верным Эгмюнду и Раннвейг – это часом не она тогда обожглась? Зато, из чистой любви, ему удалось удерживать фру Ундину в неведении относительно внебрачного ребенка. У Коппа было еще двое таких, в разных концах фьорда, и обе – дочери. А теперь, значит, появился и мальчик, малец, паренек – сын?

Не успел Гест провести в доме и суток – к неописуемой радости дочерей семейства – как торговец начал подумывать оставить его себе. Его разум, быстрый в финансовых делах, уже принялся составлять фразы для Эйлива, к его возвращению из первого рейса в акулопромышленном сезоне, в счет отработки форельного долга. «Я также могу предложить тебе обеспечить мальчика. И тогда мы в расчете». Но, конечно же, ему не стоило беспокоиться, ведь по осени этого долговизика ушли в датскую тюрьму.

Во время утреннего мочеиспускания торговец дивился тому абсолютно нелогичному обстоятельству, что он так крепко привязался к этому сыну преступника. Но едва он вновь вошел и посмотрел на щеки юного Геста, все его сомнения улетучились: было ясно видно, что в этой головушке – свет, а не мрак. Однако поделиться своей идеей насчет сына с женой Копп не решался. Фру Ундина в основном обреталась на верхнем этаже дома, где скользила по половицам как привидение, бормоча обрывки библейских текстов, а Геста только мельком видела на руках у экономки Маульфрида, когда та водворила его в кухню перед началом обеда в столовой.

– Мама, Гест с утра кофе у папы выпил!

– Кто что ест с утра?

– Да нет же! Гест! Мальчик!

– Да? Его Гест зовут?

– Ну мама. Ты же... Вы же это знаете! И с тех пор у него понос не прекращается! Кофейного цвета! Ха-ха-ха!

– Тедда. Ну не за столом же! – сделал замечание отец.

Воцарилось молчание, нарушаемое лишь стуком ложек, достигающих дна в супе, чиркающих по фарфору с железным звуком, и громким чавканьем мальчика, доносящимся из кухни. Затем фру оставила свою ложку в ополовиненной тарелке, вытерла рот салфеткой, коснувшись лишь самой вершиной белоснежного треугольника той трубочки, в которую она вытянула свои сухие запекшиеся губы, и произнесла сильно подытоживающим тоном:

– А кто его мать?

– Это вы о чем? – послышалось в ответ из-под усов.

– Кто его мать?



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.